МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство образования и науки Республики Бурятия
МКУ «Управление образования местной администрации МО
«Баунтовский эвенкийский район»
МБОУ «Маловская СОШ»

РАССМОТРЕНО	СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Руководитель МО	Заместитель директора по УМР	Директор
[Меньшикова И.В.]	[Жамбалова Б.Б.]	[Лоншакова Е.Ю.]
Протокол №1 от «1» сентября 2023 г.	. Протокол №1 от «5» сентября 2023 г.	Приказ № 56/2 от «7» сентября 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА

Меньшиковой И.В.
Ф.И.О.

по **родной литературе**
11класс

п. Маловский
2023-2024 уч.год

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принят Государственной Думой 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 26.12.2012;
- Закон Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» от 13.12.2013 г. № 240-V, принят Народным Хуралом Республики Бурятия 5 декабря 2013 года;
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 с изменениями от 22 мая 2019 г.);
--Образовательной программы среднего общего образования по русскому языку МБОУ «Маловской СОШ» на 2023-2024уч.г.
- учебный план МБОУ «Маловская СОШ».
- Локальные акты МБОУ «Маловская СОШ»;
.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты изучения родной (русской) литературы как учебного предмета

Выпускник научится:

- проявлять готовность к самообразованию.

Выпускник получит возможность научиться:

- развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира через творческую деятельность эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения родной (русской)литературы как учебного предмета

Выпускник научится:

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;

понимать ценность жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней;

оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;

определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества;

определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;

осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи;

основам прогнозирования;

отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи.

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Предметные результаты изучения родной (русской) литературы как учебного предмета

Выпускник научится: устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей;

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей;

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

владеть основными способами обработки информации и презентации.

Выпускник получит возможность научиться:

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному;

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера;

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат).

Содержание учебного предмета

Введение. Русская литература начала XX века в контексте мировой культуры. Связь русской литературы и истории. Обращение русской литературы к народному сознанию в поисках нравственного идеала

Изображение русской природы в родной литературе первой половины 20 века. Стихотворение И.Бунина « Ту звезду, что качалася в темной воде»."Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. Тема родины, боль и тревога за судьбы России в стихотворении А. Белого «Родине». Тема родины, боль и тревога за судьбы России в стихотворении С.Есенина «О пашни, пашни, пашни…».Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности саморазрушения личности. Изображение жизни народа в родной литературе и живописи: стихотворения С.Есенина и живопись А.Пластова о жизни русской деревни. В. Астафьев Белогрудка
Проверочная работа :Самостоятельный анализ стихотворений русских писателей о судьбе родины по выбору учащихся.

Отражение истории в русской литературе 20 века. Образ родной земли в русской лирической поэзии: чтение и анализ стихотворения А.Ахматовой «Тот город, мной любимый с детства» и М.Цветаевой «У меня в Москве — купола горят».Отражение истории в русской литературе 20 века. «В мире, расколотом надвое»: русские писатели о гражданской войне. Стихотворение М.Волошина «Русская революция». Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести. . **М.А. Булгаков «**Я УБИЛ»
В Дегтев « Псы войны».Русская литература во взаимодействии с национальными литературами: изображение трагедии Великой Отечественной войны в стихах М.Джалиля

Отражение глубины человеческих переживаний в русской лирической поэзии и прозе. Отражение глубины человеческих переживаний в русской лирической поэзии: анализ стихотворения М.Цветаевой «Молодость» **Б.Екимов“Говори, мама, говори…” Платонов Андрей «Песчаная учительница»**судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском **Булгаков Михаил «Красная корона»**Творческая работа: анализ лирического стихотворения или прозаического текста русских поэтов и писателей 20 века по выбору учащихся или написание своего лирического стихотворения.

Поиск нравственного идеала в русской прозе двадцатого и двадцать первого века. Поиск нравственного идеала в русской реалистической прозе двадцатого века: рассказ А.Куприна «Скрипка Паганини». К. Паустовский «Старик в станционном буфете».Поиск нравственного идеала в русской прозе двадцатого века: К. Паустовский «Телеграмма».Б. Екимов «Лёгкая рука». **Борис Екимов. Ночь исцеления. Рассказ** Нравственные уроки родной литературы. А.Костюнин «Рукавичка» **Проблемы: сострадания, милосердия, воспитания детей,взаимоотношений людей,черствости и равнодушияЛюдмила Улицкая «Перловый суп.»**

Тематическое планирование

	Тема	Количество часов
1	**Введение.** Русская литература начала XX века в контексте мировой культуры. Связь русской литературы и истории. Обращение русской литературы к народному сознанию в поисках нравственного идеала	1
2	**Изображение русской природы в родной литературе первой половины 20 века.** Стихотворение И.Бунина « Ту звезду, что качалася в темной воде»."Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.	1
3	Тема родины, боль и тревога за судьбы России в стихотворении А. Белого «Родине». Тема родины, боль и тревога за судьбы России в стихотворении С.Есенина «О пашни, пашни, пашни…».	1
4	Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова.	1
5	М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности саморазрушения личности.	1
6	Изображение жизни народа в родной литературе и живописи: стихотворения С.Есенина и живопись А.Пластова о жизни русской деревни.	1

	В. Астафьев Белогрудка	
7	**Отражение истории в русской литературе 20 века.** Образ родной земли в русской лирической поэзии: чтение и анализ стихотворения А.Ахматовой «Тот город, мной любимый с детства» и М.Цветаевой «У меня в Москве — купола горят».Отражение истории в русской литературе 20 века. «В мире, расколотом надвое»: русские писатели о гражданской войне. Стихотворение М.Волошина «Русская революция».	1
8	Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести. .	1
9	**М.А. Булгаков «**Я УБИЛ»	1
10	В Дегтев « Псы войны».	1
11	**Отражение глубины человеческих переживаний в русской лирической поэзии и прозе.** Отражение глубины человеческих переживаний в русской лирической поэзии: анализ стихотворения М.Цветаевой «Молодость»	1
12-15	**Б.Екимов“Говори, мама, говори…” Платонов Андрей «Песчаная учительница»**судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском **Булгаков Михаил «Красная корона»**	4
16	Творческая работа: анализ лирического стихотворения или прозаического текста русских поэтов и писателей 20 века по выбору учащихся или написание своего лирического стихотворения.	1
17	**Поиск нравственного идеала в русской прозе двадцатого и двадцать первого века**. Поиск нравственного идеала в русской реалистической прозе двадцатого века: рассказ А.Куприна	1

	«Скрипка Паганини».	
18-22	К. Паустовский «Старик в станционном буфете».Поиск нравственного идеала в русской прозе двадцатого века: К. Паустовский «Телеграмма».Б. Екимов «Лёгкая рука».	5
23-25	**Борис Екимов. Ночь исцеления. Рассказ** Нравственные уроки родной литературы. А.Костюнин «Рукавичка»	3
26-27	**Р/Р сочинение**	2
28-34	**Проблемы: сострадания, милосердия, воспитания детей, взаимоотношений людей, черствости и равнодушия Людмила Улицкая «Перловый суп»**	7
	Итого:	**34**

Кимы

№	Темы	Ресурс
1	Проверочная работа: Самостоятельный анализ стихотворений русских писателей о судьбе родины по выбору учащихся.	http://laboratoriya-znaniy.ru/index.php/analiz-poeticheskogo-teksta/razbor-stikhotvorenij-shkolnoj-programmy-po-literature-8-11-klassy?start=35
2	Творческая работа: анализ лирического стихотворения или прозаического текста русских поэтов и писателей 20 века по выбору учащихся или написание своего лирического стихотворения.	https://licey.net/free/14-razbor_poeticheskih_proizvedenii_russkie_i_zarubezhnye_poety/66-russkaya_poeziya_xx_veka__ocherki_poetiki_analiz_tekstov.html

3	Сочинение по всем темам	https://www.sochinyashka.ru/egeoge/sochineniya-po-tsybylko-2021.html

Приложение рассказы для чтения :

Проблема милосердия, сострадания
Проблема взаимоотношений старого и молодого поколений
Проблема становления, взросления человека

Борис Екимов. Ночь исцеления. Рассказ

Внук приехал и убежал с ребятами на лыжах кататься. А баба Дуня, разом оживев, резво суетилась в доме: варила щи, пирожки затевала, доставала варенья да компоты и поглядывала в окошко, не бежит ли Гриша.

К обеду внук заявился, поел, как подмел, и снова умчался, теперь уже в **лог**, с коньками. И снова баба Дуня осталась одна. Но то было не одиночество. Лежала на диване рубашка внука, книжки его – на столе, сумка брошена у порога – все не на месте, **вразлад**. И живым духом веяло в доме. Сын и дочь свили гнездо в городе и наезжали редко – хорошо, коли раз в год. Баба Дуня у них гостила не чаще и **обыденкою** вечером возвращалась к дому. С одной стороны, за **хату** боялась: какое ни есть, а хозяйство, с другой…

Вторая причина была поважнее: с некоторых пор спала баба Дуня тревожно, разговаривала, а то и кричала во сне. В своей хате, дома, шуми хоть на весь белый свет. Кто услышит! А вот в гостях… Только улягутся и заснут, как забормочет баба Дуня, в голос заговорит, кого-то убеждает, просит так явственно в ночной тишине, а потом закричит: **«Люди добрые! Спасите!!»** Конечно, все просыпаются – и к бабе Дуне. А это сон у нее такой тревожный. Поговорят, поуспокаивают, валерьянки дадут и разойдутся. А через час то же самое: **«Простите Христа ради! Простите!!»** И снова квартира **дыбом**. Конечно, все понимали, что виновата старость и несладкая жизнь, какую баба Дуня провела. С войной и голодом. Понимать понимали, но от этого было не легче.

Приезжала баба Дуня – и взрослые, считай, ночь напролет не спали. Хорошего мало. Водили ее к врачам. Те прописывали лекарства. Ничего не помогало. И стала баба Дуня ездить к детям все реже и реже, а потом лишь обыденкою: протрясется два часа в автобусе, спросит про здоровье и назад. И к ней, в родительский дом, приезжали лишь в отпуск, по лету. Но вот внучек Гриша, в годы войдя, стал ездить чаще: на зимние каникулы, на **Октябрьские праздники да Майские**.

Он зимой и летом рыбачил в Дону, грибы собирал, катался на коньках да лыжах,

дружил с уличными ребятами,– словом, не скучал. Баба Дуня радовалась.

И нынче с Гришиным приездом она про **хвори** забыла. День летел невидя, в суете и заботах. Не успела оглянуться, а уж синело за окном, подступал вечер. Гриша заявился по-светлому. Загромыхал на крылечке,

в хату влетел краснощекий, с морозным духом и с порога заявил:

– Завтра на рыбалку! Берш за мостом берется. Дуром!

– Это хорошо,– одобрила баба Дуня. – Ушицей посладимся.

Гриша поужинал и сел разбирать снасти: **мормышки да блесны** проверял, на полдома разложив свое богатство. А баба Дуня устроилась на диване и глядела на внука, расспрашивая его о том о сем. Внук все малым был да малым, а в последние год-два вдруг вытянулся, и баба Дуня с трудом признавала в этом длинноногом, большеруком подростке с черным пушком на губе косолапого Гришатку.

– Бабаня, я говорю, и можешь быть уверена. Будет уха и жарёха. Фирма веников не вяжет. Учти.

– С вениками правда плохо,– согласилась баба Дуня. – До трех рублей на базаре.

Гриша рассмеялся:

– Я про рыбу.

– Про рыбу… У меня дядя рыбалил. Дядя Авдей. Мы на Картулях жили. Меня оттуда замуж брали. Так там рыбы…

Гриша сидел на полу, среди блесен и лесок, длинные ноги – через всю комнатушку, от кровати до дивана. Он слушал, а потом заключил:

– Ничего, и мы завтра наловим: на уху и жарёху.

За окном солнце давно закатилось. Долго розовело небо. И уже светила луна половинкою, но так хорошо, ясно. Укладывались спать. Баба Дуня, совестясь, сказала:

– Ночью, може, я шуметь буду. Так ты разбуди.

Гриша отмахивался:

– Я, бабаня, ничегоне слышу. Сплю мертвым сном.

– Ну и слава Богу. А то вот я шумлю, дура старая. Ничего поделать не могу.

Заснули быстро, и баба Дуня, и внук.

Но среди ночи Гриша проснулся от крика:

– Помогите! Помогите, люди добрые!

Спросонья, во тьме он ничего не понял, и страх **обуял** его.

– Люди добрые! Карточки потеряла! Карточки в синем платочке завязаны! Может, кто поднял? – И смолкла.

Гриша уразумел, где он и что. Это кричала баба Дуня. Во тьме, в тишине так ясно слышалось тяжелое бабушкино дыхание. Она словно продыхивалась, сил набиралась. И снова запричитала, пока не в голос:

– Карточки… Где карточки… В синем платочке… Люди добрые. Ребятишки… Петяня, Шурик, Таечка… Домой приду, они **исть** попросят… Хлебец дай, мамушка. А мамушка ихняя… – Баба Дуня запнулась, словно ошеломленная, и закричала: – Люди добрые! Не дайте помереть! Петяня! Шура! Таечка! – Имена детей она словно выпевала, тонко и болезненно.

Гриша не выдержал, поднялся с постели, прошел в бабушкину комнату.

– Бабаня! Бабаня! – позвал он. – Проснись…

Она проснулась, заворочалась:

– Гриша, ты? Разбудила тебя. Прости, Христа ради.

– Ты, бабаня, не на тот бок легла, на сердце.

– На сердце, на сердце… – послушно согласилась баба Дуня.

– Нельзя на сердце. Ты на правый ложись.

– Лягу, лягу…

Она чувствовала себя такой виноватой. Гриша вернулся к себе, лег в постель. Баба Дуня ворочалась, вздыхала. Не сразу отступало то, что пришло во сне. Внук тоже не спал, лежал, **угреваясь**. Про карточки он знал. На них давали хлеб. Давно, в войну и после. А Петяня, о котором горевала бабушка,– это отец.

В жидкой тьме лунного полусвета темнели шкаф и этажерка. Стало думаться об утре, о рыбалке, и уже в полудреме Гриша услыхал бабушкино бормотание:

– Зима находит… Желудков запастись… Ребятишкам, детишкам… – бормотала баба Дуня. – Хлебца не хватает, и желудками обойдемся. Не отымайте, Христа ради… Не отымайте! – закричала она. – **Хучь** мешки отдайте! Мешки! – И рыдания оборвали крик.

Гриша вскочил с постели.

– Бабаня! Бабаня! – крикнул он и свет зажег в кухне. – Бабаня, проснись!

Баба Дуня проснулась. Гриша наклонился над ней. В свете электрической лампочки засияли на бабушкином лице слезы.

– Бабаня… – охнул Гриша. – Ты вправду плачешь? Так ведь это все сон.

– Плачу, дура старая. Во сне, во сне…

– Но слезы-то зачем настоящие? Ведь сон – неправда. Ты вот проснулась, и все.

– Да это сейчас проснулась. А там…

– А чего тебеснилось?

– Снилось? Да нехорошее. Будто за желудями я ходила за Дон, на горы. Набрала в два мешка. А лесники на пароме отнимают. Вроде не положено. И мешки не отдают.

– А зачем тебе желуди?

– Кормиться. Мы их толкли, мучки чуток добавляли и **чуреки** пекли, ели.

– Бабаня, тебе это только снится или это было? – спросил Гриша.

– Снится,– ответила баба Дуня. – Снится – и было. Не приведи, Господи. Не приведи… Ну, ложись иди ложись…

Гриша ушел, и крепкий сон сморил его или баба Дуня больше не кричала, но до позднего утра он ничего не слышал. Утром ушел на рыбалку и, как обещал, поймал пять хороших **бершей**, на уху и жарёху.

За обедом баба Дуня горевала:

– Не даю тебе спать… До двух раз **булгачила**. Старость.

– Бабаня, в голову не бери,– успокаивал ее Гриша. – Высплюсь, какие мои годы…

Он пообедал и сразу стал собираться. А когда надел лыжный костюм, то стал еще выше. И красив он был, в лыжной шапочке, такое милое лицо, мальчишечье, смуглое, с румянцем. Баба Дуня рядом с ним казалась совсем старой: согбенное, оплывающее тело, седая голова тряслась, и в глазах уже виделось что-то нездешнее. Гриша мельком, но **явственно** вспомнил лицо ее в полутьме, в слезах. Воспоминание резануло по сердцу. Он поспешил уйти.

Во дворе ждали друзья. Рядом лежала степь. Чуть поодаль зеленели посадки сосны. Так хорошо было бежать там на лыжах. Смолистый дух проникал в кровь живительным холодком и, казалось, возносил над лыжней послушное тело. И легко было мчаться, словно парить. За соснами высились песчаные бугры – кучугуры, поросшие **красноталом**. Они шли холмистой грядой до самого Дона. Туда, к высоким задонским холмам, тоже заснеженным, тянуло. Манило к крутизне, когда наждаковый ветер высекает из глаз слезу, а ты летишь, чуть присев, узкими щелочками глаз цепко ловишь впереди каждый бугорок и впадинку, чтобы встретить их, и тело твое цепенеет в тряском лете. И наконец пулей вылетаешь на гладкую скатерть заснеженной реки и, расслабившись, выдохнув весь испуг, катишь и катишь спокойно, до середины Дона.

Этой ночью Гриша не слыхал бабы Дуниных криков, хотя утром по лицу ее понял, что она неспокойно спала.

– Не будила тебя? Ну и слава Богу…

Прошел еще день и еще. А потом как-то к вечеру он ходил на почту, в город звонить. В разговоре мать спросила:

– Спать тебе баба Дуня дает? – И посоветовала: – Она лишь начнет с вечера говорить, а ты крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы пробовали.

По пути домой стало думаться о бабушке. Сейчас, со стороны, она казалась такой слабой и одинокой. А тут еще эти ночи в слезах, словно наказание. Про старые годы вспоминал отец. Но для него они прошли. А для бабушки – нет. И с какой, верно, тягостью ждет она ночи. Все люди прожили горькое и забыли. А у нее оно снова и снова. Но как помочь?

Свечерело. Солнце скрылось за прибрежными донскими холмами. Розовая кайма лежала за Доном, а по ней – редкий далекий лес узорчатой чернью. В поселке было тихо, лишь малые детишки смеялись, катаясь на салазках. Про бабушку думать было больно. Как помочь ей? Как мать советовала? Говорит, помогает. Вполне может и быть. Это ведь психика. Приказать, крикнуть – и перестанет. Гриша неторопливо шел и шел, раздумывая, и в душе его что-то теплело и таяло, что-то жгло и жгло. Весь вечер за ужином, а потом за книгой, у телевизора Гриша нет-нет да и вспоминал о прошедшем. Вспоминал и глядел на бабушку, думал: «Лишь бы не заснуть».

За ужином он пил крепкий чай, чтобы не сморило. Выпил чашку, другую, готовя себя к бессонной ночи. И пришла ночь. Потушили свет. Гриша не лег, а сел в постели, дожидаясь своего часа. За окном светила луна. Снег белел. Чернели сараи. Баба Дуня скоро заснула, похрапывая. Гриша ждал. И когда наконец из комнаты бабушки донеслось еще невнятное бормотание, он поднялся и пошел. Свет в кухне зажег, встал возле кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь.

– Потеряла… Нет… Нету карточек… – бормотала баба Дуня еще негромко. – Карточки… Где… Карточки… – И слезы, слезы подкатывали.

Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял – топнуть. Чтобы уж наверняка.

– Хлебные… карточки… – в тяжкой муке, со слезами выговаривала баба Дуня.

Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:

– Вот ваши карточки, бабаня… В синем платочке, да? ваши в синем платочке? Это

ваши, вы обронили. А я поднял. Вот видите, возьмите,– настойчиво повторял он. – Все целые, берите…

Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. Не сразу пришли слова. Но пришли:

– Мои, мои… Платочек мой, синий. Люди скажут. Мои карточки, я обронила. Спаси Христос, добрый человек…

По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет.

– Не надо плакать,– громко сказал он. – Карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложитесь спать,– говорил он, словно приказывал. – И спите спокойно. Спите.

Баба Дуня смолкла.

Гриша подождал, послушал ровное бабушкино дыхание, поднялся. Его бил **озноб.** Какой-то холод пронизывал до костей. И нельзя было согреться. Печка была еще тепла. Он сидел у печки и плакал. Слезы катились и катились. Они шли от сердца, потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то еще… Он не спал, но находился в странном забытьи, словно в годах далеких, иных, и в жизни чужой, и виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог не плакать. И он плакал, вытирая слезы кулаком. Но как только баба Дуня заговорила, он забыл обо всем. Ясной стала голова, и ушла из тела дрожь. К бабе Дуне он подошел вовремя.

– Документ есть, есть документ… вот он… – дрожащим голосом говорила она. – К мужу в госпиталь пробираюсь. А ночь на дворе. Пустите переночевать.

Гриша словно увидел темную улицу и женщину во тьме и распахнул ей навстречу дверь.

– Конечно, пустим. Проходите, пожалуйста. Проходите. Не нужен ваш документ.

– Документ есть! – выкрикнула баба Дуня.

Гриша понял, что надо брать документ.

– Хорошо, давайте. Так… Ясно. Очень хороший документ. Правильный. С фотокарточкой, с печатью.

– Правильный… – облегченно вздохнула баба Дуня.

– Все сходится. Проходите.

– Мне бы на полу. Лишь до утра. Переждать.

– Никакого пола. Вот кровать. Спите спокойно. Спите. Спите. На бочок и спите.

Баба Дуня послушно повернулась на правый бок, положила под голову ладошку и заснула. Теперь уже до утра. Гриша посидел над ней, поднялся, потушил в кухне свет. Кособокая луна, опускаясь, глядела в окно. Белел снег, посверкивая живыми искрами. Гриша лег в постель, **предвкушая**, как завтра расскажет бабушке и как они вместе… Но вдруг обожгло его ясной мыслью: нельзя говорить. Он отчетливо понял – ни слова, ни даже намека. Это должно остаться и умереть в нем. Нужно делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней. Нужно делать и молчать. И придет исцеление.

Нравственные проблемы: малодушия, раскаяния, ответственности, нравственной прочности человека

АЛЕКСАНДР КОСТЮНИН

Рукавичка

...Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти;
и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю.
Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам,
говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам.
И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился.

Евангелие от Матфея

Нельзя сказать, чтобы я часто вспоминал школу. Мысли о ней, как далекое, отстраненное событие какой-то совсем другой жизни, пробивались с трудом.

Я не был отличником — хорошие отметки со мной не водились.

Сейчас понимаю: могло быть и хуже. В пять лет, всего за два года до школы, я вообще не говорил по-русски. Родным для меня был язык карельский. И дома, и во дворе общались только на нем.

Десятилетняя школа была тем первым высоким порогом, за которым и жаждал я увидеть жизнь новую, яркую, возвышенную. Заливистый школьный звонок, свой собственный портфель, тетрадки, первые книжки, рассказы о неизведанном, мальчишеские забавы после уроков — все это, словно настежь распахнутые ворота сенного сарая, манило меня на простор. При чем здесь отметки?

Тридцать лет прошло.

Повседневные заботы, реже радости, полупрозрачной дымкой затягивают детство. Годы наслаиваются как-то незаметно, как древесные кольца. И с каждым новым слоем вроде бы ничего не меняется, а всё же разглядеть глубь труднее. И только причудливым капом на гладком стволе памяти, ядовитым грибом или лечебной чагой — выступают из прошлого лица, события, символы…

Не знаю, почему уж так сложилось, но ярче всего из школьных лет запомнился мне случай с рукавичкой.

Мы учились в первом классе.

Алла Ивановна Гришина, наша первая учительница, повела нас на экскурсию в кабинет уроков труда. Девчонки проходили там домоводство: учились кашу варить, шить, вязать. Это не считалось пустым занятием. Купить одежу точно в свой размер было негде. Перешивали или донашивали от старших. Жили все тогда туго. Бедовали.

Способность мастерить ценилась.

Как стайка взъерошенных воробьев, мы, смущаясь и неловко суетясь, расселись по партам. Сидим тихо, пилькаем глазенками.

Учительница по домоводству сначала рассказала нам о своем предмете, поясняя при необходимости на карельском, а затем пустила по партам оформленные альбомы с лучшими образцами детских работ.

Там были шитые и вязаные носочки, рукавички, шапочки, шарфики, платьица, брючки. Все это кукольного размера, даже новорожденному младенцу было бы мало. Я не раз видел, как мать за швейной машинкой зимними вечерами ладила нам обнову, но это было совсем не то…

Мы, нетерпеливо перегибаясь через чужую голову, разглядывали это чудо с завистью, пока оно на соседней парте, и с удовольствием, сколь можно дольше, на полных правах, рассматривали диковинку, когда она попадала нам в руки.

Звонок прогремел резко, нежданно. Урок закончился. Оглядываясь на альбом, мы в полном замешательстве покинули класс.

Прошла перемена и начался следующий урок. Достаём учебники. Ноги еще не остановились. Еще скачут. Голова следом. Усаживаемся поудобнее. Затихающим эхом ниспадают до шепота фразы. Алла Ивановна степенно встает из-за учительского стола, подходит к доске и берет кусочек мела. Пробует писать. Мел крошится. Белые хрупкие кусочки мелкой пылью струятся из-под руки.

Вдруг дверь в класс резко распахивается. К нам не заходит — вбегает — учительница домоводства. Прическа сбита набок. На лице красные пятна.

— Ребята, пропала рукавичка! — и, не дав никому опомниться, выпалила: — Взял кто-то из вас…

Для наглядности она резко выдернула из-за спины альбом с образцами и, широко раскрыв, подняла его над головой. Страничка была пустая. На том месте, где недавно жил крохотный пушистый комочек, я это хорошо запомнил, сейчас торчал только короткий обрывок чёрной нитки.

Повисла недобрая пауза. Алла Ивановна цепким взглядом прошлась по каждому и стала по очереди опрашивать.

— Кондроева?

— Гусев?

— Ретукина?

— Яковлев?

Очередь дошла до меня... Двинулась дальше.

Ребята, робея, вставали из-за парты и, понурив голову, выдавливали одно и то же: «Я не брал, Алла Ивановна».

— Так, хорошо, — зло процедила наша учительница, — мы все равно найдем. Идите сюда, по одному. Кондроева! С портфелем, с портфелем…

Светка Кондроева, вернувшись к парте, подняла с пола свой ранец. Цепляясь лямками за выступы парты, она, не мигая уставившись на учительницу, безвольно стала к ней приближаться.

— Живей давай! Как совершать преступление, так вы герои. Умейте отвечать.

Алла Ивановна взяла из рук Светки портфель, резко перевернула его, подняла вверх и сильно тряхнула. На учительский стол посыпались тетрадки, учебники. Резкими

щелчками застрекотали соскользнувшие на пол карандаши.

А цепкие пальцы Аллы Ивановны портфель всё трясли и трясли.

Выпала кукла. Уткнувшись носом в груду учебников, она застыла в неловкой позе.

— Ха, вот дура! — засмеялся Леха Силин. — Ляльку в школу притащила.

Кондроева, опустив голову, молча плакала.

Учительница по домоводству брезгливо перебрала нехитрый скарб. Ничего не нашла.

— Раздевайся! — хлёстко скомандовала Алла Ивановна.

Светка безропотно начала стягивать штопаную кофтенку. Слёзы крупными непослушными каплями скатывались из ее опухших глаз. Поминутно всхлипывая, она откидывала с лица косички. Присев на корточки, развязала шнурки башмачков и, поднявшись, по очереди стащила их. Бежевые трикотажные колготки оказались с дыркой. Розовый Светкин пальчик непослушно торчал, выставив себя напоказ всему, казалось, миру. Вот уже снята и юбчонка. Спущены колготки.
Белая майка с отвисшими лямками.

Светка стояла босая на затоптанном школьном полу перед всем классом и, не в силах успокоить свои руки, теребила в смущении байковые панталончики.

Нательный алюминиевый крестик на холщовой нитке маятником покачивался на ее детской шейке.

— Это что ещё такое? — тыкая пальцем в крест, возмутилась классная. — Чтобы не смела в школу носить. Одевайся. Следующий!

Кондроева, шлёпая босыми ножками, собрала рассыпанные карандаши, торопливо сложила в портфель учебники, скомкала одежонку и, прижав к груди куклу, пошла на цыпочках к своей парте.

Ребят раздевали до трусов одного за другим. По очереди обыскивали. Больше никто не плакал. Все затравленно молчали, исполняя порывистые команды.

Моя очередь приближалась. Впереди двое.

Сейчас трясли Юрку Гурова. Наши дома стояли рядом. Юрка был из большой семьи, кроме него ещё три брата и две младшие сестры. Отец у него крепко пил, и Юрка частенько, по-соседски, спасался у нас.

Портфель у него был без ручки, и он нес его к учительскому столу, зажав под мышкой.

Неопрятные тетрадки и всего один учебник вылетели на учительский стол. Юрка стал раздеваться. Снял свитер, не развязывая шнурков, стащил стоптанные ботинки, затем носки и, неожиданно остановившись, разревелся в голос.

Аллавановна стала насильно вытряхивать его из майки, и тут на пол выпала маленькая синяя рукавичка.

— Как она у тебя оказалась? Как?!! — тыкая рукавичкой в лицо, зло допытывалась Алла Ивановна, наклонившись прямо к Юркиному лицу. — Как?! Отвечай!..

— Миня эн тыйе! Миня эн тыйе! Миня эн тыйе… — лепетал запуганный Юрка, от волнения перейдя на карельский язык.

— А, не знаешь?!! Ты не знаешь?!! Ну, так я знаю! Ты украл ее. Вор!

Юркины губы мелко дрожали. Он старался не смотреть на нас.

Класс напряженно молчал.

Мы вместе учились до восьмого класса. Больше Юрка в школе никогда ничего не крал, но это уже не имело значения. Клеймо «вор» раскалённым тавром было навеки поставлено деревней на нем и на всей его семье. Можно смело сказать, что восемь школьных лет обернулись для него тюремным сроком.

Он стал изгоем.

Никто из старших братьев никогда не приходил в класс и не защищал его. И он никому сдачи дать не мог. Он был всегда один. Юрку не били. Его по-человечески унижали. Плюнуть в Юркину кружку с компотом, высыпать вещи из портфеля в холодную осеннюю лужу, закинуть шапку в огород — считалось подвигом. Все задорно смеялись. Я не отставал от других. Биологическая потребность возвыситься над слабым брала верх.

***

Роковые девяностые годы стали для всей России тяжелым испытанием. Замолкали целые города, останавливались заводы, закрывались фабрики и совхозы.

Люди, как крысы в бочке, зверели, вырывая пайку друг у друга. Безысходность топили в палёном спирте.

Воровство крутой высокой волной накрыло карельские деревни и села. Уносили последнее: ночами выкапывали картошку на огородах, тащили продукты из погребов. Квашеную капусту, банки с вареньем и овощами, заготовленную до следующего урожая свеклу и репу — выгребали подчистую.

Многие семьи зимовать оставались ни с чем. Милиция бездействовала.

У Чуковского в сказке, если бы не помощь из-за синих гор, все звери в страхе дрожали бы перед Тараканищем еще и сейчас. Здесь воров решили наказать судом своим. Не стали ждать «спасителя-воробья». Терпению односельчан пришел конец.

…Разбитый совхозный «Пазик», тяжело буксуя в рыхлом снегу, сначала передвигался по селу от логова одного вора к другому, а потом выехал на проселочную дорогу. Семеро крепких мужиков, покачиваясь в такт ухабам, агрессивно молчали. Парок от ровного дыхания бойко курился в промозглом воздухе салона. На металлическом, с блестящими залысинами полу уже елозили задом по ледяной корке местные воры. Кто в нашей деревне не знал их по именам? Их было пятеро: Леха Силин, Каредь, Зыка, Петька Колчин и Юрка Гуров — это они на протяжении последних восьми лет безнаказанно тянули у односельчан последнее.

Не догадывалась об этом только милиция.

Руки не связывали — куда денутся? Взяли их легко, не дав опомниться. Да и момент подгадали удачно — в полдень. После ночной «работы» самый сон.

«Пазик», урча, направился за село, по лесной просёлочной дороге.

В пути молчали. Каждый сам в себе. Все было понятно без слов. Ни в прокуроры, ни в адвокаты никто не рвался.

На пятом километре остановились. Здесь дорога шла прямо по берегу лесного озера Кодаярви. Двигатель заглушили. Вытолкнули «гостей» на снег. Дали две пешни и приказали рубить по очереди прорубь.

Снежные тучи тяжело наползали на нас. Солнце скрылось. Поднялся ветер. Завьюжило. Мороз к вечеру стал крепчать.

Топить воров никто не собирался, а хорошенько проучить их следовало. Есть случаи, в которых деликатность неуместна… хуже грубости.

В совхозном гараже мы распили две бутылки прямо из горлышка. Стоя. Кусок черствого ржаного хлеба был один на всех. Мы пили за победу над злом.

Я этим же вечером уехал в город, а наутро из деревни позвонили: Юра Гуров у себя в сарае повесился…

Если бы не этот звонок, я бы, наверное, так и не вспомнил про синюю рукавичку.

Чудодейственным образом, отчётливо, как наяву, я увидел плачущего Юрку, маленького, беззащитного, с трясущимися губами, переступающего босыми ножонками на холодном полу…

Его жалобное: «Миня эн тыйе! Миня эн тыйе! Миня эн тыйе!», — оглушило меня.

Я остро, до боли, вспомнил библейский сюжет: Иисус не просто от начала знал, кто предаст Его. Только когда Наставник, обмакнув кусок хлеба в вине, подал Иуде, только «после сего куска и вошел в Иуду сатана». На профессиональном милицейском жаргоне это называется «подстава».

Юрка, Юрка… твоя судьба для меня — укор… И чувство вины растет.

Что-то провернулось в моей душе. Заныло.

Но заглушать эту боль я почему-то не хочу…

Проблема отцов и детей, взаимоотношений поколений

А. Платонов ТРЕТИЙ СЫН

В областном городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики шесть телеграмм однообразного содержания: "Мать умерла приезжай отец".

Пожилая служащая долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось ему, тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу - может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой.

И вот теперь она медленно работает, путает деньги, теряет память и внимание; даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье.

После отправления телеграмм старый отец вернулся домой; он сел на табуретку около длинного стола - у холодных ног своей покойной жены, курил, шептал грустные слова, следил за одинокой жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке, иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым менялась погода в природе, то падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега, то шел дождь, то светило позднее солнце, нетеплое, как звезда, - и старик ждал сыновей.

Старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные пять сыновей собрались в течение двух следующих суток.

Один из них, третий по старшинству, приехал вместе с дочкой, шестилетней

девочкой, никогда не видавшей своего деда.

Мать ждала на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения; давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими, - пока не умерла.

Громадные мужчины - в возрасте от двадцати до сорока лет - безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их было шесть человек, седьмым был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами.

Сыновья молча плакали редкими, задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один раньше всех, а теперь с тайным волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. Двое из них были моряками командирами кораблей, один - московским артистом, один - у кого была дочка - физиком, коммунистом, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланового завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро и седьмой отец бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда - через тысячи верст - находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильней от этого сознания и смелее делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп, она больше никого не могла любить и лежала как равнодушная, чужая старуха.

Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе - весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание.

Умирая, старуха наказала мужу-старику, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома, а уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыновей и чтоб они могли идти за ее гробом. Старуха не столько верила в бога, сколько хотела, чтобы муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв, при свете восковых свечей над ее посмертным лицом; она не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец привел под вечер одного человека, тоже старичка, одетого обыкновенно, по-штатскому, розового от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре; в ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу, епитрахиль и маленькое кадило на цепочке. Он быстро уставил и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и с ходу, без предупреждения, забормотал чтение по

книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги; им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно, в затылок друг другу, стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, пел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился - это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении.

Окончив скорую панихиду, поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командирскую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег, и поп, не задерживаясь, пробрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянувших на него, и боязливо скрылся за дверью. В сущности же, он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которыми он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог; он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь враз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений, для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски, но ему не дали оттуда ответа.

Вечером отец постелил шесть постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровати рядом с собой, где сорок лет спала покойная старуха. Кровать стояла в той же большой комнате, где находился гроб, а сыновья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а потом притворил дверь и ушел спать рядом с внучкой, всюду потушив свет. Внучка уже спала, одна на широкой кровати, укрывшись в одеяло с головой.

Старик постоял над ней в ночном сумраке; выпавший снег на улице собирал скудный, рассеянный свет неба и освещал тьму в комнате через окна. Старик подошел к открытому гробу, поцеловал руки, лоб и губы жены и сказал ей: "Отдыхай теперь". Он осторожно лег рядом с внучкой и закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло. Он задремал и вдруг снова проснулся. Из-под двери комнаты, где спали сыновья, проникал свет - там опять зажгли электричество, и оттуда раздавался смех и шумный разговор.

Девочка от шума начала ворочаться, может быть, она тоже не спала, только боялась высунуть голову из-под одеяла - от страха перед ночью и мертвой старухой.

Старший сын с увлечением, с восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических пропеллерах, и голос его звучал сыто и мощно, чувствовались его здоровье, вовремя отремонтированные зубы и красная глубокая гортань. Братья моряки рассказывали случаи в иностранных портах и хохотали, что отец покрыл их сейчас старыми одеялами, которыми они накрывались еще в детстве и отрочестве. К этим одеялам сверху и снизу были пришиты белые полоски бязи с надписями "голова", "ноги", чтобы стелить одеяла правильно и грязным, потным краем, где были ноги, не покрывать лица. Затем один моряк схватился с артистом, и они начали возиться по полу, как в детстве, когда они жили все вместе. Младший же сын подзадоривал их, обещая принять их обоих на одну свою левую руку. Видимо, все братья любили друг

друга и радовались своему свиданью. Уже много лет они не съезжались все вместе, и в будущем неизвестно, когда еще съедутся. Может быть, только на похороны отца? Развозившись, два брата опрокинули стул, тогда они на минуту притихли, но, вспомнив, видимо, что мать мертвая, ничего не слышит, они продолжали свое дело. Вскоре старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь вполголоса: он ведь знает хорошие московские песни. Но артист сказал, что ему трудно начать ни с того ни с сего, ни под слово. "Ну, закройте меня чем-нибудь",- попросил московский артист. Ему накрыли чем-то лицо, и он запел из-под прикрытия, чтоб не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежавшего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали - так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала:

- Дедушка! А дедушка! Ты спишь?

- Нет, я не сплю, я ничего, - сказал старик и робко покашлял.

Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу: оно было мокрое.

- Ты что плачешь? - шепотом спросил старик.

- Мне бабушку жалко, - сказала внучка. - Все живут, смеются, а она одна умерла.

Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно, она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо и спросила:

- А почему ты тоже плачешь? Я перестала.

Дед погладил ей головку и шепотом ответил:

- Так... Я не плачу, у меня пот идет.

Девочка сидела на кровати около изголовья старика.

- Ты по старухе скучаешь? - говорила она. - Лучше не плачь: ты старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать.

- Я не буду, - тихо отвечал старик.

В другой, шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то сказал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого-физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука: он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил всех своих братьев, и они перестали даже разговаривать.

Вскоре оттуда открылась дверь и вышел третий сын, одетый как днем. Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому.

Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания.

Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону, по столу, и упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука, - закричала только его дочь.

Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы

привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке, тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней; если б она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила... Но мать не вытерпела жить долго.

Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать, а старик взял внучку на руки и пошел им вслед, он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже.

Проблема взаимоотношений отцов и детей.

Проблема одиночества

Б.Екимов

“Говори, мама, говори…”

По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала:

загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? Замечательно! Тогда целую. Будь-будь!

Коробочка тухла, смолкала. Старая Катерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость — спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит — и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Не надумала ехать? Гляди… Вопросов нет? Целую. Будь-будь!

А ведь до города, где дочь живет, полторы сотни верст. И не всегда легких, особенно в непогоду.

Но в год нынешний осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора, на окрестных курганах, порыжела трава, а тополевое да вербовое займище возле Дона стояло

зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни, хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром.

Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг… онг-онг…

Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд.

— Кидаю умом, не накину… — жаловалась она соседке. — Ехать, не ехать?.. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио: навовсе поломалась погода. Ныне ведь пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло-растепло. Туды-сюды… Рождество да Крещенье. А там пора об рассаде думать. Чего зря и ехать, колготу разводить.

Соседка лишь вздыхала: до весны, до рассады было еще ох как далеко.

Но старая Катерина, скорее себя убеждая, вынимала из пазухи еще один довод — мобильный телефон.

— Мобила! — горделиво повторяла она слова городского внука. — Одно слово — мобила. Нажал кнопку, и враз — Мария. Другую нажал — Коля. Кому хочешь жалься. И чего нам не жить? — вопрошала она. — Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство…

Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой.

Последние годы она уезжала зимовать к дочери в город. Одно дело — возраст: трудно всякий день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет?

Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку зимовать. Вот и уезжала к своим.

Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность: Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям?.. И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюлешки упрут.

Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся.

Вот и думала: ехать, не ехать?.. А тут еще телефон привезли на подмогу — “мобилу”. Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам.

Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-будь.

Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.

В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно: провода, черная большая трубка, долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился “мобильный”. И то слава богу.

— Мама! Слышишь меня?! Живая-здоровая? Молодец. Целую.

Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла.

— Это что за страсть такая… — ворчала старая женщина. — Не телефон, свиристелка. Прокукарекал: будь-будь… Вот тебе и будь. А тут…

А тут, то есть в жизни хуторской, стариковской, было много всего, о чем рассказать хотелось.

— Мама, слышишь меня?

— Слышу, слышу… Это ты, доча? А голос будто не твой, какой-то хрипавый. Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплей. А то вы городские — модные, платок пуховый повяжи. И нехай глядят. Здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы? Вроде на нашем подворье стоит скотиняка. Живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, на голове — рога, а морда козиная. Это что за страсть? И к чему бы такое?

— Мама, — донеслось из телефона строгое. — Говори по делу, а не про козиные морды. Мы же тебе объясняли: тариф.

— Прости Христа ради, — опомнилась старая женщина. Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче, о самом главном.

Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей... И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть: лошадиный хвост и козья страшенная морда.

Вот и думай, к чему это? Наверное, не к добру.

Снова миновал день, за ним — другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую

живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится: хоть и дом невелик, а сидеть не велит.

Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сараи, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорогущий, его не укупишь.

Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг... онг-онг… — слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расползались по-рачьи, чураясь друг друга.

Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке — белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище.

Неловко начался день, да так и пошел не в лад.

Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.

— Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что — живая. Я ныне так вдарилась, — пожаловалась она. — Не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где… — подосадовала она. — Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. А тама, возля ворот, там грушина-черномяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины…

— Мама, — раздался в телефоне далекий голос, — конкретней говори, что случилось, а не про сладимую грушину.

— А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень… Летось Володю просила до скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномяска…

— Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о черномяске. Не забывай, что это — мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?

— Вроде бы не сломала, — все поняла старая женщина. — Прикладаю капустный лист.

На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: “Чего болит, не болит… Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади…”

И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме. Но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть. А потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращенье колеса старинной самопряхи. И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном — день осенний, словно бы сумерки. И вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек — внатяг. Вдруг и впрямь зимовать придется.

В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:

— Болят ваши косточки?..

Так впору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой:

— Болят, моя доча…

— Ноют руки и ноги?.. — словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.

— Спасу нет… Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка — никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят…

— Болит ваша спина… — мягко ворковал, словно завораживая, женский голос.

— Заболит, моя доча… Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть… Такая жизнь…

Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа.

Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк.

Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: “Овечка глупая… Чего ревешь?..” Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче.

И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:

— Доча, доча… Чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь. Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убилась. Тама, возля этой дулинки… — Она опомнилась: — Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча…

Издалека, через многие километры, донесся голос дочери:

— Говори, мама, говори…

— Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка… Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча… Опять я не то плету… Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..

В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.

— Говори, мама… — просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. — Говори, мама, говори…

Проблема цели в жизни, стремлении к ней , честности,верности принципам
Д.С.Лихачев
Письмо первое
БОЛЬШОЕ В МАЛОМ

В материальном мире большое не уместишь в малом. В сфере же духовных ценностей не так: в малом может уместиться гораздо большее, а если в большом попытаться уместить малое, то большое просто перестанет существовать.

Если есть у человека великая цель, то она должна проявляться во всем – в самом, казалось бы, незначительном. Надо быть честным в незаметном и случайном: тогда только будешь честным и в выполнении своего большого долга. Большая цель охватывает всего человека, сказывается в каждом его поступке, и нельзя думать, что дурными средствами можно достигнуть доброй цели.

Поговорка «цель оправдывает средства» губительна и безнравственна. Это хорошо показал Достоевский в «Преступлении и наказании». Главное действующее лицо этого произведения – Родион Раскольников думал, что, убив отвратительную старушонку-ростовщицу, он добудет деньги, на которые сможет затем достигнуть великих целей и облагодетельствовать человечество, но терпит внутреннее крушение. Цель далека и несбыточна, а преступление реально; оно ужасно и ничем не может быть оправдано. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом.

Общее правило: блюсти большое в малом – нужно, в частности, и в науке. Научная истина дороже всего, и ей надо следовать во всех деталях научного исследования и в жизни ученого. Если же стремиться в науке к «мелким» целям – к доказательству «силой», вопреки фактам, к «интересности» выводов, к их эффективности или к любым формам самопродвижения, то ученый неизбежно терпит крах. Может быть, не сразу, но в конечном счете! Когда начинаются преувеличения полученных результатов исследования или даже мелкие подтасовки фактов и научная истина оттесняется на второй план, наука перестает существовать, и сам ученый рано или поздно перестает быть ученым.

Соблюдать большое надо во всем решительно. Тогда все легко и просто.

Д.С.Лихачев

Письмо третье
САМОЕ БОЛЬШОЕ

А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком.

Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и надо любить в человеке человека.

Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим.

Большая цель добра начинается с малого – с желания добра своим близким, но, расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов.

Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, мудрее.

Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это значит, что она должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороться с недостатками – как в любимом человеке, так и в окружающих людях. Она должна быть соединена с мудростью, с умением отделять необходимое от пустого и ложного. Она не должна быть слепой. Слепой восторг (его даже не назовешь любовью) может привести к ужасным последствиям. Мать, всем восторгающаяся и поощряющая во всем своего ребенка, может воспитать нравственного урода. Слепой восторг перед Германией («Германия превыше всего» – слова шовинистической немецкой песни) привел к нацизму, слепой восторг перед Италией – к фашизму.

Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. Хитрость же постепенно чахнет и непременно рано или поздно оборачивается против самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и надежна. Она не обманывает других, и прежде всего самого мудрого человека. Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье, приносит счастье надежное, долголетнее и ту спокойную совесть, которая ценнее всего в старости.

Как выразить то общее, что есть между моими тремя положениями: «Большое в малом», «Молодость – всегда» и «Самое большое»? Его можно выразить одним словом, которое может стать девизом: «Верность». Верность тем большим принципам, которыми должен руководствоваться человек в большом и малом, верность своей безупречной молодости, своей родине в широком и в узком смысле этого понятия, верность семье, друзьям, городу, стране, народу. В конечном счете верность есть верность правде – правде-истине и правде-справедливости.

Д.С.Лихачев

Проблема воспитанности,воспитания человека

Письмо тринадцатое
О ВОСПИТАННОСТИ

Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и… у самого себя.

Надо только знать, что такое настоящая воспитанность.

Я не берусь давать «рецепты» воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю образцово воспитанным. Но кое-какими мыслями я хотел бы поделиться с читателями.

Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными.

Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину (даже в автобусе!) и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене вымыть посуду, – он невоспитанный человек.

Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, – он невоспитанный человек.

Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих близких, – он невоспитанный человек. Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родителей и не замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, – он невоспитанный человек.

Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-то дома готовит уроки или читает (пусть это будут даже его маленькие дети), – он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих детей.

Если он любит трунить (шутить) над женой или детьми, не щадя их самолюбия, особенно при посторонних, то тут уже он (извините меня!) просто глуп.

Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшим и с младшим годами и по положению.

Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя «громко», экономит время других («Точность – вежливость королей» – говорит поговорка), строго выполняет данные другим обещания, не важничает, не «задирает нос» и всегда один и тот же – дома, в школе, в институте, на работе, в магазине и в автобусе.

Читатель заметил, вероятно, что я обращаюсь главным образом к мужчине, к главе семьи. Это потому, что женщине действительно нужно уступать дорогу… не только в дверях.

Но умная женщина легко поймет, что именно надо делать, чтобы, всегда и с признательностью принимая от мужчины данное ей природой право, как можно меньше заставлять мужчину уступать ей первенство. А это гораздо труднее! Поэтому-то природа позаботилась, чтобы женщины в массе своей (я не говорю об исключениях) были наделены большим чувством такта и большей природной вежливостью, чем мужчины…

Есть много книг о «хороших манерах». Эти книги объясняют, как держать себя в обществе, в гостях и дома, в театре, на работе, со старшими и младшими, как говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрение окружающих. Но люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому, что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры. Кажется: иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, ненужно. Человек хорошими манерами и в самом деле может прикрыть дурные поступки.

Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом хорошие манеры созданы опытом множества поколений и знаменуют многовековое стремление людей быть лучше, жить удобнее и красивее.

В чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? Простое ли это собрание правил, «рецептов» поведения, наставлений, которые трудно запомнить все? В основе всех хороших манер лежит забота-забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо. Надо уметь не мешать друг другу. Поэтому не надо шуметь. От шума не заткнешь уши – вряд ли это во всех случаях и возможно. Например, за столом во время еды. Поэтому не надо чавкать, не надо звонко класть вилку на тарелку, с шумом втягивать в себя суп, громко говорить за обедом или говорить с набитым ртом, чтобы у соседей не было опасений. И не надо класть локти на стол – опять-таки чтобы не мешать соседу. Быть опрятно одетым надо потому, что в этом сказывается уважение к другим – к гостям, к хозяевам или просто к прохожим: на вас не должно быть противно смотреть. Не надо утомлять соседей беспрерывными шутками, остротами и анекдотами, особенно такими, которые уже были кем-то рассказаны вашим слушателям. Этим вы ставите слушателей в неловкое положение. Старайтесь не только сами развлекать других, но и позволяйте другим что-то рассказать. Манеры, одежда, походка, все поведение должно быть сдержанным и… красивым. Ибо любая красота не утомляет. Она «социальна». И в так называемых хороших манерах есть всегда глубокий смысл. Не думайте, что хорошие манеры – это только манеры, то есть нечто поверхностное. Своим поведением вы выявляете свою суть. Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах, бережное отношение к миру: к обществу, к природе, к животным и птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому тех мест, где живешь, и т. д. Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость уважительного отношения к другим. А если у вас будет это и еще немного находчивости, то манеры сами придут к вам или, лучше сказать, придет память на правила хорошего поведения, желание и умение их применить.

Д.С.Лихачев

Проблема чести

(еще «Капитанская дочка» А.С.Пушкина –Гринев и Швабрин)

Письмо десятое

ЧЕСТЬ ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ

Я не люблю определений и часто не готов к ним. Но я могу указать на некоторые различия между совестью и честью.

Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда

исходит из глубины души, и совестью в той или иной мере очищаются. Совесть «грызет». Совесть не бывает ложной. Она бывает приглушенной или слишком преувеличенной (крайне редко). Но представления о чести бывают совершенно ложными, и эти ложные представления наносят колоссальный ущерб обществу. Я имею в виду то, что называется «честью мундира». У нас исчезло такое несвойственное нашему обществу явление, как понятие дворянской чести, но «честь мундира» остается тяжелым грузом. Точно человек умер, а остался только мундир, с которого сняты ордена. И внутри которого уже не бьется совестливое сердце.

«Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать ложные или порочные проекты, настаивать на продолжении явно неудачных строек, бороться с охраняющими памятники обществами («наша стройка важнее») и т. д. Примеров подобного отстаивания «чести мундира» можно привести много.

Честь истинная – всегда в соответствии с совестью. Честь ложная – мираж в пустыне, в нравственной пустыне человеческой (вернее, «чиновничьей») души.

Проблема взаимоотношений отцов и детей

Проблема одиночества

Проблема взаимопомощи людей друг другу

К.Паустовский

Телеграмма

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта – портрет ее отца, а вот эта – маленькая, в золотой

раме – подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом – известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе – называлось оно Заборье – никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, – девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.

– На что это мне? – хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. – Тряпичница я, что ли?

– А ты продай, милая, – шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. – Ты продай.

– Сдам в утиль, – решала Манюшка, забирала все и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае – Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:

– Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

– Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване – сгорбленная, маленькая, – и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

– Ну что ж, – говорил он, не дождавшись ответа. – Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

– Иди, Тиша, – шептала Катерина Петровна. – Иди, бог с тобой!

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, – без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

– Кто стучит?

Но за забором никто не ответил.

– Должно быть, почудилось, – сказала Катерина Петровна и побрела назад.

Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя, – писала Катерина Петровна. – Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, – смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет – совсем уж не тот, – да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, – что там? Но внутри ничего не было видно – одна жестяная пустота.

Настя работала секретарем в Союзе художников. Работ«было много, Устройство выставок, конкурсов – все это проходило через ее руки.

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, – решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет – значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, – сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл сам Тимофеев – маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.

– Не раздевайтесь, – буркнул Тимофеев. – А то замерзнете. Прошу!

Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты.

– Боже мой, какой холод! – сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

– Вот, полюбуйтесь! – сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. – Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары.

– Вы не любите Першина? – осторожно спросила Настя.

– Выскочка! – сердито сказал Тимофеев. – Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница – каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!

– Покажите мне вашего Гоголя, – попросила Настя, чтобы переменить разговор.

– Перейдите! – угрюмо приказал скульптор. – Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:

– Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, – казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. – Эх ты, сорока!»

– Ну что? – опросил Тимофеев. – Серьезный дядя, да?

– Замечательно! – с трудом ответила Настя. – Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

– Превосходно, – повторил он. – Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьящ, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь – превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет – и готово. А Першин хмыкнул – значит, конец!… Ночи не спишь! – крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. – Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

– Это все о Гоголе! – сказал он и вдруг успокоился. – Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

– Ну что ж, будем драться вместе, – сказал Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.

Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

– Куда там сейчас ехать! – сказала она и встала, – Разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней – и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

– Ни черта у вас не получится, дорогая моя, – со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. – Зря я только трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

– Мертвый свет! – ворчал он. – Убийственная скука! Керосин и то лучше.

– Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? – вспылила Настя.

– Свечи нужны! Свечи! – страдальчески закричал Тимофеев. – Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу. Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке:

– Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано.

В дверях появилась курьерша из Союза – добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? – растерянно подумала Настя. – Какой Тихон? Должно бить, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Перший.

– В наши дни, – говорил он, покачиваясь и придерживая очки, – забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны – да не в обиду будет сказано нашему руководству – одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.

Перший поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез.

Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.

– Что? – спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. – Ничего неприятного?

– Нет, – ответила Настя. – Это так… От одной знакомой…

– Ага! – пробормотал старик и снова стал слушать Першина.

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? – подумала она. – Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: – «Эх, ты!»

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя, – вспомнила Настя недавнее письмо. – Ненаглядная!»

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

«Поздно! Маму я уже не увижу», – сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово – «мама».

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж что, мама? Что? – думала она, ничего не видя. – Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.

Она опоздала. Билетов уже не было.

Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.

– Что с вами, гражданка? – недовольно спросила она.

– Ничего, – ответила Настя. – У меня мама… Настя повернулась и быстро пошла к выходу.

– Куда вы? – крикнула кассирша. – Сразу надо было сказать. Подождите минутку.

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

…Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала: живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала – от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она

была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.

Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

– Что, Тиша? – бессильно спросила Катерина Петровна.

– Похолодало, Катерина Петровна! – бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. – Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет – значит, и ей будет способнее ехать.

– Кому? – Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

– Да кому же другому, как не Настасье Семеновне, – ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. – Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

– Вот! – сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.

Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.

– Прочти, – сказала Манюшка хрипло. – Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

– Не надо, Тиша! – тихо сказала Катерина Петровна. – Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

– Не дождалась, – пробормотал Тихон. – Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура, – сказал он сердито Манюшке, – за добро плати добром, не будь пустельгой… Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела не отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины – старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы.

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.

– Учителька идет, учителька! – зашептали мальчишки.

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать – вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами – уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрену:

– Одинокая, должно быть, была эта старушка?

– И-и, мила-ая, – тотчас запела Матрена, – почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи – предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище – земля на нем смерзлась комками – и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока аа окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет.

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто нз увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.

Булгаков Михаил

Красная корона

(Historia morbi)

Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый, частый стук. Людей боюсь до того, что, если вечером заслышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора № 27. Никто не может ко мне прийти. Но, чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича (плакал перед ним), чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Но то совсем другое. Он был преступник-большевик, и синяя печать была преступная печать. Она его загнала на фонарь, а фонарь был причиной моей болезни (не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен).

В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал:

- Господин генерал, вы - зверь. Не смеете вешать людей.

Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди... Это отвратно.

* * *

Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал, за ним желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой безоконной стеной, и под самой крышей огромный ржавый квадрат. Вывеска. "Зуботехническая лаборатория". Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык, и, если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день, на ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки - страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что, если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная, последняя картина.

* * *

Старуха мать сказала мне:

- Я долго так не проживу. Я вижу - безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший.

Я молчал.

Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль.

- Найди его. Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это - безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его.

Она лгала. Разве она отпустила бы его опять?

Я молчал.

- Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко? Он - мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его.

Я не выдержал и сказал, пряча глаза:

- Хорошо.

Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо:

- Нет, ты поклянись, что привезешь его живым.

Как можно дать такую клятву?

А я, безумный человек, поклялся:

- Клянусь.

* * *

Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас, я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем. Ему 19 лет.

После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в двадцати верстах, у речонки. Необыкновенно был яркий день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню: правая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок.

- Коля, Коля! - я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве. Он дрогнул. В шеренге хмурые, потные солдаты повернули головы.

- А... брат! - крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда - брат. Я старше его на десять лет. И он всегда внимательно слушал мои слова.- Стой. Стой здесь,- продолжал он,- у лесочка. Сейчас мы подойдем. Я не могу оставить эскадрон.

У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все - безумие. Мать была совершенно права.

И я шептал ему:

- Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда, и навсегда.

- Что ты, брат?

- Молчи,- говорил я,- молчи. Я знаю.

Эскадрон сел. Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы. И застучало вдали. Частый, частый стук.

Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом.

* * *

Через час я увидел его. Так же, рысью, он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них - правый то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красной. И день окончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос, и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями-клочьями.

Всадник - брат мой, в красной лохматой короне,- сидел неподвижно на взмыленной лошади, и, если б не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать: он едет на парад.

Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там, где час назад светились ясные глаза...

Левый всадник спешился, левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся.

И голос сказал:

- Эх, вольноопределяющего нашего... осколком. Санитар, зови доктора...

ругой охнул и ответил:

- С-с... что ж, брат, доктора. Тут давай попа.

Тогда флер черный стал гуще и все затянул, даже головной убор...

* * *

Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз, еще внизу, в № 63, он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю: раз он в короне, значит - мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшимися кровью. Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал:

- Брат, я не могу оставить эскадрон.

И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке, с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами, и говорит одно и то же. Честь. Затем:

- Брат, я не могу оставить эскадрон.

Что он сделал со мной в первый раз! Он вспугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво: раз в венчике - убитый, а если убитый приходит и говорит, значит - я сошел с ума.

* * *

Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной - портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино

раскрыто, и партитура "Фауста" на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке, с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой.

- Брат, идем ко мне в комнату. Что я тебе покажу!..

В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав "иди", не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся.

* * *

Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адову муку, все ж таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил говорить мне вечно.

Я решил положить конец. Сказал ему с силой:

- Что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя, за то, что (*448) послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня.

Господин генерал, он промолчал и ушел.

Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены так же, как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к вам тот грязный, в саже, с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера.

Итак, он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех

пор я в № 27-м. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре:

- Безнадежен.

* * *

Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна - старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.

Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:

- Я не могу оставить эскадрон.

Да, я безнадежен. Он замучит меня.

Проблемы: сострадания, милосердия, воспитания детей,взаимоотношений людей,черствости и равнодушия

Людмила Улицкая

Перловый суп.

Почему ранняя память зацепилась трижды за этот самый перловый суп? Он был действительно жемчужно-серый, с розоватым, в сторону моркови, переливом и дополнительным перламутровым мерцанием круглой сахарной косточки, полузатопленной в кастрюле.

Вечером, после запоздалого обеда, мама перелила часть супа в помятый солдатский котелок и дала его мне в руки. Я спускалась по лестнице со второго этажа одна, а мама стояла в дверях квартиры и ждала. Эта картина осталась у меня почему-то в этом странном ракурсе, сверху и чуть сбоку: по лестнице осторожно спускается девочка лет четырех в темно-синем фланелевом платье с клетчатым воротничком, в белом фартучке с вышитой на груди кошкой — в одежде, соответствующей дореволюционным идеалам моей бабушки, полагающей, что фартук именно потому должен быть белым, что на темном грязь плохо видна, — коротенькая толстая косичка неудобно утыкается сзади в шею, но поправить невозможно, потому что в одной руке теплый котелок с супом, а другой я держусь за чугунные стойки перил.

Туфли на пуговицах немного скользят по стертым ступеням, и потому я иду младенческими приставными шагами, с большой опаской.

Я спускаюсь на марш, поворачиваюсь, вижу маму, которая терпеливо ждет меня в дверях и улыбается своей чудесной улыбкой, от которой красота ее немного портится.

Я вздыхаю и продолжаю спуск. Внизу, под лестницей, в каморе, живет пара нищих, костлявый носатый Иван Семенович и маленькая старушка по прозвищу Беретка. Я их боюсь и брезгаю, но мама, как мне кажется, об этом знать не должна.

Под лестницей нет электричества, иногда у них горит керосиновая лампа, иногда совсем темно. Обыкновенно Иван Семенович лежит на какой-то лежанке, покрытой тряпьем, а Беретка, в вытертом бархатном пальто и серо-зеленой вязаной беретке, сидит у него в ногах.

Я стучу. Никто не отзывается. Спиной я открываю дверь. Керосиновая лампа выдает мне Беретку, которую без головного убора я сначала не узнаю. Оказывается, она лысая, вернее, не совсем лысая: и лицо и голова ее покрыты одинаковыми редкими длинными волосами и крупными коричневыми родинками. Она жалко улыбается и суетливо натягивает на лысую голову берет:

— Ой, детка, это ты, а я и не слышу…

Я отдаю ей котелок, из кармана фартука вынимаю два куска хлеба и говорю почему-то «спасибо».

Беретка переливает суп из котелка в банку и бормочет что-то неразборчивое, похоже на «мыло, мыло».

Сухой грязной рукой возвращает мне котелок. Старик кашляет. Беретка кричит ему:

— Иван Семенович! Вам покушать прислали, вставайте!

Пахнет у них ужасно.

С облегчением бегу я вверх по лестнице, мама стоит на свету, в дверном проеме и улыбается мне. Она в белом фартуке, даже с кружевной ленточкой на груди. Мама красивая, как принцесса. Одно только смущает: кажется, у принцесс белокурые волосы, а у мамы веселые черные кудряшки, подхваченные сзади двумя заколками…

Нищие исчезли незадолго до праздника, который я запомнила очень хорошо. Отец вел меня за руку по нарядному городу, и повсюду были выставлены косые красные кресты. Я начинала тогда разбирать буквы и спросила у отца, почему всюду написано «ХА-ХА-ХА…». Он раздраженно дернул меня за руку, а потом объяснил, что эти косые кресты означают еще цифру тридцать.

Вечером того же дня, уже лежа в постели, я слышала, как мама говорит отцу:

— Нет, не понимаю, отказываюсь понимать, кому они мешали…

— Город к празднику почистили… — объяснил ей отец.

Во второй истории перловый суп не был главным действующим лицом, а лишь скромно мелькнул на заднем плане.

Воскресным утром в дверь позвонили. Один раз, а потом еще один. Дверь в нашу комнату была первой по коридору. Один звонок был общий, два — к нам, три — к Цветковым… восемь — к Кошкиным.

— Вероятно, это общий, — пробормотала мама. Коленями она стояла на стуле, а локтями упиралась в стол. Таблицы с синими, красными и взятыми в кружок цифрами лежали перед ней. Две мелкие морщины образовывали между бровей деревце, когда она работала.

Она спрыгнула со стула и, все еще неся напряжение мысли на круглом умном лобике, пошла открывать.

Огромная темная женщина стояла в дверном проеме. На ней был длинный военный плащ до полу, ярко белел пробор на круглой толстой голове.

Мама смотрела на нее выжидающе, и тетка не обманула ожидания: она распахнула плащ и предъявила огромное голое тело. У меня дыхание перехватило от этого зрелища: грудь низко свисала и оканчивалась большими, чуть не с чайное блюдце сосками, пупок был размером с чашку, выпуклый и тоже темный, глубокий неровный шов шел поперек живота, над треугольной бородкой вытертых волос, и все вместе это было каким-то страшным великанским лицом, а не женским телом.

— Погорельцы мы! Все-все погорело… как есть… — сказала женщина немосковским мягким голосом и запахнула ужасный лик своего тела.

— Ой, да вы заходите, заходите, — пригласила мама, и женщина, озираясь, вошла.

Прихожая нашей многосемейной квартиры была заставлена сундуками, корытами, дровами и шкафами.

— Я сейчас, сейчас, — заторопилась вдруг мама. — Да вы сядьте, — и мама сняла ящик с венского стула, который был втиснут между Цветковским сундуком и тищенковской этажеркой.

Мама кинулась в комнату, вытянула нижний ящик шкафа, села перед ним и стала выбирать из старого белья подходящее для погорелицы. Две длинноногие пары дедовых кальсон бросила она на пол и побежала на кухню. Разожгла примус, поставила на него кастрюлю и снова метнулась в комнату.

Женщина сидела на стуле и все разглядывала рогатую вешалку Кудриных, на которой висели ватник и шинель.

А мама выбросила все с полок шкафа и быстрыми пальчиками перебирала свои тряпки. Мама была маленького роста, и все ее вещи были маленькие, но она нашла то, что искала, — бабушкину коверкотовую юбку и старинную огромную рубаху из пожелтевшего батиста.

И снова мама побежала на кухню, а я понеслась за ней, потому что боялась остаться наедине с тем великаном, что был спрятан у тетки под плащом.

Сосед Цветков высунулся в коридор.

— Погорельцы вот, — сказала ему мама виноватым голосом, но он быстро захлопнул свою дверь.

Мама налила большую миску переливчатого перлового супа, отрезала кусок серого хлеба и вынесла погорелице.

— Вот, покушайте пока, — попросила мама тетку, и тетка приняла миску, — Ой, да так неудобно, — всполошилась мама и притащила газету. Постелила ее на покрытый сине-красным ковром Цветковский сундук, усадила женщину как бы к столу.

— Дай тебе Бог здоровья, — сказала женщина и принялась за суп.

А я наблюдала сквозь щель неплотно прикрытой двери, как лениво она ест перловый суп, бросая в него кусочки хлеба, скучно водя ложкой в миске и посматривая по сторонам.

Зубов у нее не было.

«Видно, и зубы сгорели, — подумала я. И еще: — Она тоже не любит перловый суп».

А мама засовывала в узел шелковое трико лососинового цвета с луковыми заплатами и говорила тихонько не то мне, не то самой себе:

— Господи, ну надо же такое, чтоб прямо голой, на улицу…

А женщина доела суп, поставила миску на пол… встала, распахнула плащ… глаз я не могла отвести от ее странных тихих движений.

Наконец мама выволокла узел в коридор:

— Вот. Собрала… Да вы оденьтесь, оденьтесь. У нас ванная комната есть, — предложила мама.

Но женщина отклонила предложение:

— Детки меня ждут… Мне бы деньжонок сколько-нибудь… — А мама уже вынимала сложенную в четыре раза тридцатку. — Спасибо, век вашу доброту не забуду, — поблагодарила женшина скороговоркой, и мама закрыла за ней дверь.

Потом, собирая с полу разбросанные вещи, мама говорила мне в некотором недоумении:

— А штаны сразу могла бы надеть, правда?

Я не сразу ответила, потому что мне кое-что надо было обдумать и понять.

— Штаны холодные, — сообразила я наконец, — а ковер теплый.

Было солнечно и снежно, с детьми в такую погоду полагалось гулять.

— Может, погуляешь сама под окошечком? — извиняющимся голосом предложила мама, кося на свои таблицы.

Я согласилась великодушно. Мама бросила в меня ворохом шерстяной одежды — кофтами, рейтузами, варежками и носочками. Меня снарядили, подвязали поясом желтую плюшевую шубу, сшитую бабушкой из старого покрывала, желтую шапку из того же самого покрывала застегнули под подбородком, дали лопату и синее ведрецо и вывели на лестницу… Прямо перед нашей дверью лежала разворошенная куча маминых вещей. И бедные отвергнутые трико лежали сверху.

— Ой, что же это… — пролепетала моя маленькая мамочка.

— Я же тебе говорю, штаны-то холодные, а ковер теплый… — все пыталась я объяснить маме положение вещей.

— Да какой ковер? — наконец услышала меня мама.

— Тот, что на сундуке лежал… Она его на себя надела, — объяснила я несмышленой маме.

И тогда мама вдруг всплеснула руками и захохотала:

— Ой, что же я наделала! Ну, Цветкова меня убьет!..

Моя мама была биохимиком, и любовь ее к восхитительно стеклянной науке происходила, вероятно, из того же милого женского корня, откуда произрастает любовь к стряпне. Как мне нравилось в детстве бывать в маминой лаборатории, разглядывать на высоких столах штабеля пробирок с разноцветными растворами, стройные, с птичьими носами бюретки, толстые темные бутыли. И как же ловко мама управлялась со всем этим сверкающим стеклом… Готовила мама тоже преотлично. И соуса, и пироги, и кремы… Дался же мне этот перловый суп! Не так уж часто мама его варила. Но в тот день был как раз перловый…

С колючим шарфом на шее я сидела в кухне на маленькой скамеечке и смотрела, как мама что-то химичит. Еше две соседки копошились у своих столов, мелко гремели посудой, звякали ножами.

И тут в кухню вошла Надежда Ивановна. Странная была старуха, вся в разноцветных заплатах. И на одном глазу, тоже вроде неуместной заплаты, сидело бельмо. Молча потянула она маму за рукав, и мама, бросив морковку и вытирая на ходу руки, мелкой своей походочкой пошла за ней, встревоженно спрашивая:

— Что? Что? С Ниной?

Нина была дочь Надежды Ивановны, взрослая девушка, тяжелая сердечница с ракушечными голубыми ногтями и синими губами, плохо закрашенными красной помадой.

Я было двинулась за мамой, но она почти грубо махнула мне рукой:

— Сиди здесь.

И я осталась сидеть, обиженно перебирая кисточки кусачего шарфа. Соседки, на минуту оторвавшись от хозяйства, снова застучали и загремели. Потом одна ушла со стопкой чистых тарелок, а вторая пошла отвечать по телефону, который был привинчен к стене в другом конце коридора.

Я сидела довольно долго, успела сплести все кисточки в одну перепутанную косичку.

А потом мама и Надежда Ивановна вернулись. Что-то переменилось. Они шли медленно. Мама, взявши соседку за плечо, усадила ее на табурет. Лицо Надежды Ивановны было неподвижное, белое, казалось, что у нее не одно бельмо, а два. В руке она держала картонный футляр от градусника. Мама ей тихо говорила:

— Мы сейчас валерьянки… валерьяночки… Надежда Ивановна…

— А если «скорую», так ведь увезут… — не меняя неподвижного лица, говорила соседка. И совсем невпопад: — А я думаю, спит-то как спокойно…

— Сейчас, сейчас… Позвоним… все сделаем, Надежда Ивановна, — торопливо говорила мама, громко капая в рюмку.

А соседка в коридоре кричала в телефон:

— Это тебе не отдел снабжения, Шура, ты имей в виду… Пусть заявку пишет, от меня не дождетесь!

Надежда Ивановна отвела мамину руку с протянутой рюмочкой и с лицом, как будто вдруг проснувшимся, сказала маме:

— Марина Борисовна, налей-ка ты мне тарелку супчику…

Мама заметалась, вытащила из-под меня скамеечку, потому что красивые тарелки стояли на верхней полке и она до них не доставала. Налила в белую фаянсовую тарелку с выпуклыми квадратиками по краю серебристого и переливчатого перлового супа, поставила тарелку на край кухонного стола. Вытерла серебряную ложку с тонким черенком свежим полотенцем и подала соседке.

— И ты поешь со мной, Марина Борисовна, — попросила Надежда Ивановна, и мама протерла еше одну ложку и, придвинув вторую табуретку, села рядом с одноглазой старухой и запустила ложку в ту же самую тарелку.

Мне очень хотелось сказать этой старухе, что мамочка моя никакая не Марина, что ее зовут Мириам, но сказать я не могла ничего, потому что они ели из одной тарелки, и

слезы текли по лицу Надежды Ивановны, и не только из живого, но и из белого, неживого глаза, и по маминому лицу тоже текли слезы.

— Вкусный ты суп варишь, Марина Борисовна, — сказала Надежда Ивановна. — И чего ты в него ложишь?

Она последний раз облизнула ложку и положила ее рядом с тарелкой:

— Спасибо тебе. Отмучилась моя доченька.

…Давно никого нет. Нины. Надежды Ивановны. Мамы уже двадцать лет как нет. И перловый суп я никогда не варю.

М.А. Булгаков

Я УБИЛ

Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так:

- Листок с календаря можно сорвать? Сейчас ровно 12, значит, наступнло 2-е число.

- Пожалуйста, пожалуйста, - ответил я.

Яшвин тонкими и белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхнйй листок. Под ним оказалась дешевенькая страничка с цифрою "2" и словом "вторник". Но что-то чрезвычайно заинтересовало Яшвина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль, так что понятно было, что он видит только ему одному доступную, загадочную картину где-то за стеной моей комнаты, а может быть, и далеко за ночной Москвой в грозной дымке февральского мороза.

"Что он там разыскал?" - подумал я, косясь на доктора. Меня он всегда очень интересовал. Внешность его как-то не соответствовала его профессии. Всегда его незнакомые принимали за актера. Темноволосый, он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр и о театре если рассказывал, то с большим вкусом и знанием. Отличался он от всех нашнх ординаторов, и сейчас у меня в гостях, прежде всего обувью. Нас было пять человек в комнате, и четверо из нас в дешевых ботинках из хрома с наивно закругленными носами, а доктор Яшвин был в острых лакированных туфлях и желтых гетрах. Должен, впрочем, сказать, что щегольство Яшвина никогда особенно неприятного впечатления не производило, и врач он был, надо отдать ему справедливость, очень хороший. Смелый, удачливый и, главное, успевающий читать, несмотря на постоянные посещения "валькирии" и "севильского цирюльника".

Дело, конечно, не в обуви, а в другом: интересовал он меня одним необычайным свойством своим - молчаливый и несомненно скрытный человек, в некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и блеяния, "мня-я" и всегда на очень интересную тему. Сдержанный, фатоватый врач как бы загорался, правой белой рукой он только изредка делал короткие и плавные жесты, точно ставил в воздухе небольшие вехи в рассказе, никогда не улыбался, если рассказывал смешное, а сравнения его порою были так метки и красочны, что, слушая его, я

всегда томился одной мыслью: "Врач ты очень неплохой, и все-таки ты пошел не по своей дороге и быть тебе нужно только писателем..."

И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, а щурился на цифру "2" на неизвестную даль.

"Что он там разыскал? Картинка, что ли". Я покосился через плечо и увидал, что картинка самая неинтересная. Изображена была несоответственного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись: "Сравнительная величина лошади (1 сила) и мотора (500 лошадиных сил) ".

- Все это вздор, товарищи, - заговорил я, продолжая беседу, - обывательская пошлятина. Валят они, черти, на врачей, как на мертвых, а на нас, хирургов, в особенностн. Подумайте сами: человек 100 раз делает аппендицит, на сто первый у него больной и помрет на столе. Что же, он его зарезал, что ли?

- Обязательно скажут, что зарезал, - отозвался доктор - и если это жена, то муж придет в клинику стулом в вас щвырять, - уверенно подтвердил доктор Плонский и даже улыбнулся, и мы улыбнулись, хотя, по сути дела, очень мало смешного в швырянии стульями в клинике.

- Терпеть не могу, - продолжал я, - фальшивых и покаянных слов: "Я убил, ах, я зарезал". Никто никого не режет, а если и убивает, у нас в руках, больного, убивает несчастная случайность. Смешно, в самом деле! Убийство не свойственно нашей профессии. Какой черт!.. Убийством я называю уничтожение человека с заранее обдуманным намерением, ну, на худой конец, с желанием его убить. Хирург с пистолетом в руке - это я понимаю. Но такого хирурга я еще в своей жизни не встречал, да и вряд ли встречу.

Доктор Яшвин вдруг повернул ко мне голову, причем я заметил, что взгляд его стал тяжелым, и сказал:

- Я к вашим услугам.

При этом он пальцем ткнул себя в галстук и вновь косенько улыбнулся, но не глазами, а углом рта.

Мы посмотрели на него с удивлением.

- То есть как? - спросил я.

- Я убил, - пояснил Яшвин.

- Когда? - нелепо спросил я.

Яшвин указал на цифру "2" и ответил:

- Представьте, какое совпадение. Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь, и вижу 2-е число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. Видите ли, ровно семь лет, ночь в ночь, да, пожалуй, и... - Яшвин вынул черные часы, поглядел, - ... да... час в час почти, в ночь с 1-го на 2-е февраля я убил его.

- Пациента? - спросил Гинс.

- Пациента, да.

- Но не умышленно? - спросил я.

- Нет, умышленно, - отозвался Яшвин.

- Ну, догадываюсь, - сквозь зубы заметил скептик Плонский, - рак у него, наверное, был, мучительное умирание, а вы ему морфий в десятикратной

дозе...

- Нет, морфий тут ровно не при чем, - ответил Яшвин, - да и рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню, градусов на пятнадцать, звезды... Ах, какие звезды на Украине. Вот семь лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит, хочется иногда мучительно н поезд... И туда. Опять увидеть обрывы, занесенные снегом. Днепр... Нет красивее города на свете, чем Киев.

Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съежился в кресле и продолжал:

- Грозный город, грозные времена... И видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видали. Это было в 19-м году, как раз вот 1-го февраля. Сумерки уже наступили, часов шесть было вечера. За странным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит, в комнате тепло, уютно, а я сижу на полу над маленьким чемоданчиком, запихиваю в него разную ерунду и шепчу одно слово:

- Бежать, бежать...

Рубашку то засуну в чемодан, то выну... Не лезет она, проклятая. Чемоданчик ручной, малюсенький, подштанники заняли массу места, потом сотня папирос, стетоскоп. Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушиваюсь. Зимние рамы замазаны, слышно глухо, но слышно... Далеко, далеко тяжко так тянет - бу-у... гу-у... тяжелые орудия. Пройдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно, я жил на крутизне, наверху Алексеевского спуска, виден мне весь Подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками, рядами... Потом опять раскат. И каждый раз, как ударит за Днепром, я шепчу:

- Дай, дай, еще дай.

Дело было вот в чем: в этот час весь город знал, что Петлюра его вот-вот покинет. Если не в эту ночь, то в следующую. Из-за Днепра наступали, и, по слухам, громадными массами, большевики, и, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпеннем, а я бы даже сказал - с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили и в них люди с красными галунными шлыками на папахах, пушки вдали не переставали в последние дни ни на час. И днем и ночью. Все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. А у меня под окнами не далее как накануне лежали полдня два трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ то в сторону шарахался, то кучками сбивался, смотрел, какие-то простоволосые бабы выскакивали из подворотен, грозили кулаками в небо и кричали:

- Ну, погодите. Придут, придут большевики.

Омерзителен и жалок был вид этих двух, убитых неизвестно за что. Так что в конце концов и я стал ждать большевиков. А они все ближе и ближе. Даль гаснет, и пушки вдали ворчат, как будто в утробе земли.

Итак...

Итак: лампа горит уютно и в то же время тревожно, в квартире я один-одинешенек, книги разбросаны (дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень), а я над чемоданчиком.

Случилось, надо вам сказать, то, что события залетели ко мне в квартиру и за волосы вытащили меня и поволокли, и полетело все, как чертов скверный сон. Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины из рабочей больницы, где я был ординатором женского хирургического отделения, и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал его тут же на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу.

На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом:

"С одержанием сего..."

Кратко, в переводе на русский язык:

"С получением сего, предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения..."

Значит, таким образом: вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батько Петлюра, погромы и я с красным крестом на рукаве в этой компании... Мечтал я не более минуты, впрочем, на лестнице. Вскочил точно на пружине, вошел в квартиру, и вот появился иа сцену чемоданчик. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон, немного белья, и на окраину к приятелю фельдшеру, человеку меланхолического вида и явных большевистских наклонностей. Буду сидеть у него, пока не выбьют Петлюру. А как его совсем не выбьют? Может быть, эти долгожданные большевики - миф? Пушки, где вы? Стихло. Нет, опять ворчит...

Я злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемоданчика, браунинг и запасную обойму положил в карман, надел шинель с повязкой красного креста, тоскливо огляделся, лампу погасил и ощупью, среди сумеречных теней, вышел в переднюю, осветил ее, взял башлык и открыл дверь на площадку.

И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами.

Один был в шпорах, другой без шпор, оба в папахах с синими шлыками, лихо свешивающимися на щеки.

У меня сердце стукнуло.

- Вы ликарь Яшвин? - спросил первый кавалерист.

- Да, я, - ответил я глухо.

- С нами поедете, - сказал первый.

- Что это значит? - спросил я, несколько оправившись.

- Саботаж, вот що, - ответил громыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво, - ликаря не хочут мобилизоваться, за що и будут отвечать по закону.

Угасла передняя, щелкнула дверь, лестница... улица...

- Куда же вы меня ведете? - спросил я и в кармане брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку.

- В первый конный полк, - ответил тот, со шпорами.

- Зачем?

- Як зачем? - удивился второй. - Назначаетесь к нам ликарем.

- Кто командует полком?

- Полковник Лещенко, - с некоторой гордостью ответил первый, и шпоры его ритмически звякали с левой стороны у меня.

"Сукин я сын, - подумал я, - мечтал над чемоданчиком. Из-за каких-то подштанников... Ну что мне стоило выйти на 5 минут раньше "

Над городом висело уже черное морозное небо, и звезды выступали на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах полыхало электричество. Гремя шпорами, меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу торчал нос пулемета, и внимание мое приковали рыжие и красные потеки в углу рядом с пулеметом, там, где дорогой гобелен висел клочьями.

"А ведь это кровь", - подумал я, и сердце мне неприятно сжало.

- Пан полковник, - негромко сказал тот, со шпорами, - ликаря доставили.

- Жид? - вдруг выкрикнул голос, сухой и хриплый, где-то.

Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и вбежал человек.

Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами. Был туго перетянут кавказским пояском с серебряными бляшками, и кавказская же шашка горела огоньками в блеске электричества на его бедре. Он был в барашковой шапочке с малиновым верхом, перекрещенным золотистым галуном. Раскосые глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно.

- Нет, не жид, - ответил кавалерист.

Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза.

- Вы не жид, - заговорил он с сильным украинским акцентом на неправильном языке - смеси русских и украинских слов, - но вы не лучше жида. И як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходить! - приказал он кавалеристу. - И дать ликарю коня.

Я стоял, молчал и был, надо полагать, бледен. Затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал:

- Смилуйтесь, пан полковник...

Я мутно увидал трясущуюся бороденку, солдатскую рваную шинель. Вокруг нее замелькали кавалерийские лица.

- Дезертир? - пропел знакомый мне уже голос с хрипотцой, - их ты, зараза, зараза.

Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятью ударил в лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своею кровью, упал на колени. Из глаз его потоком побежали слезы...

А потом сгинул белый заиндевевший город, потянулась по берегу окаменевшего черного и таинственного Днепра дорога, окаймленнап деревьями, и

по дороге шел, растянувшись змеей, первый конный полк.

В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные пики качались, торчали острые заиндевелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, окаймленное наросшим мохнатым инеем, чувствовал, как мой чемоданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной. Внутри у меня все как-то стыло, так же как стыли ноги. По временам я поднимал голову к небу, смотрел на крупные звезды, и в ушах у меня, словно присохший, звучал, лишь по временам пропадан, визг того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шомполами, и его били в особняке.

Черная даль теперь молчала, и я с суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя судьба была безнадежна. Мы шли вперед в Слободку, там должны были стоять и охранять мост, ведущий через Днепр. Если бой утихнет и я не понадоблюсь непосредственно, полковник Лещенко будет меня судить. При этой мысли я как-то окаменевал и нежно и печально всматривался в звезды. Нетрудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированного человека.. .

Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгинула черная дорога. Я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли, я согрелся, потому что в черной железной печушке плясал багровый огонь. Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большей частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода. Временами я был один. Мой конвоир оставил меня. "Бежать", - я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплывшей стеариновой свечой, лица, винтовки. Весь дом был набит людьмн, бежать было трудно. Я был в центре штаба. От двери я возвращался к столу, садился в изнеможении, клал голову на руки и внимательно слушал. По часам я заметил, что каждые пять минут под полом внизу вспыхивал визг. Я уже точно знал, в чем дело. Там кого-нибудь избивали шомполами. Визг иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание, иногда в нежные, как казалось сквозь пол, мольбы и жалобы, словно кто-то интимно беседовал с другом, иногда резко обрывался, точно ножом срезанный.

- За что вы их? - спросил я одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табурете, и я белой мазью покрывал изчеденную язву у посиневшего большого пальца. Он ответил:

- Организация попалась в Слободке. Коммунисты и жиды. Полковник допрашивает.

Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком, и стало глуше слышно. С четверть часа я так провел, и вывел меня из забытья, в котором неотступно всплывало перед закрытыми глазами рябое лицо, под золотыми галунами, голос моего конвоира:

- Пан полковник вас требует.

Я поднялся, под изуенным взором конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут я увидал полковннка Лещенко в свете фонаря.

Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами.

- Сволочь, - процедил полковник, потом обратился ко мне: - Ну, пан ликарь, перевязывайте меня. Хлопец, выйди, - приказал он хлопцу, и тот, громыхая, протискался в дверь. В доме было тихо. И в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно, я тоже. "Орудня", - подумал я, вздохнул судорожно, спросил:

- От чего это?

- Перочинным ножом, - ответил полковник хмуро.

- Кто?

- Не ваше дело, - отозвался он с холодным, злобным презрением и добавил: - Ой, пан ликарь, не хорошо вам будет.

Меня вдруг осенило: "Кто кто-то не выдержал его истязаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть..."

- Снимите марлю, - сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей черным волосом. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышался топот, возня, грубый голос закричал:

- Стой, стой, черт, куда...

Дверь распахнулась, и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее исступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась.

- Уйди, хлопец, уйди, - приказал полковник, и рука исчезла.

Женщина остановила взор на обнаженном полковнике н сказала сухим бесслезным голосом:

- За что мужа расстреляли?

- За що треба, за то и расстреляли, - отозвался полковник и страдальчески сморщился. Комочек все больше алел под его пальцами.

Она усмехнулась так, что я стал не отрываясь глядеть ей в глаза. Не видел таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала:

- А вы доктор!..

Ткнула пальцем в рукав, в красный крест и покачала головой.

- Ай, ай, - продолжала она, и глаза ее пылали, - ай, ай. Какой вы подлец... вы в университете обучались и с этой рванью... На их стороне и перевязочки делаете?! Он человека по лицу лупит и лупит. Пока с ума не свел... А вы ему перевязочку делаете?..

Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты, и я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни.

- Вы мне говорите? - спросил я и почувствовал, что дрожу. - Мне?.. Да вы знаете...

Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул: - Хлопцы!

Когда ворвались, он сказал гневно.

- Дайте ей двадцать пять шомполов.

Она ничего не сказала, и ее выволокли под руки, а полковник закрыл дверь и забросил крючок, потом опустился на табурет и отбросил ком марли. Из небольшого пореза сочилась кровь. Полковник вытер плевок, повисший на правом усе.

- Женщину? - спросил я совершенно чужим голосом.

Гнев загорелся в его глазах.

- Эге-ге... - сказал он и глянул зловеще на меня. Теперь я вижу, якую птицу мне дали вместо ликаря...

.....

Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете и кровь у него бежала изо рта, потом сразу выросли потеки на груди и животе, потом его глаза угасли и стали молочными из черных, затем он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустить седьмую, последнюю. "Вот и моя смерть", - думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекла ногами. И выскочил, судьба меня побаловала, в глухой двор, пробежал мнмо штабелей дров в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами и там, в выбоине, как в пещере, на битом кирпиче просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, я это слышал. Улочка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня. В трещину я видел одну звезду, почему-то думаю, что это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыл звезду. И потом всю ночь грохотало по Слободке и било, а я сидел в кирпичной норе и молчал и думал об ученой степени и о том, умерла ли эта женщнна под шомполами. А когда стихло, чуть-чуть светало и я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, - я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда я пришел к мосту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка... Только навоз на истоптанной дороге...

И я один прошел весь путь к Киеву и вошел в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль, В каких-то шапках с наушниками.

Меня остановили, спросили документы.

Я сказал:

- Я лекарь Яшвин. Бегу от петлюровцев. Где они?

Мне сказали:

- Ночью ушли. В Киеве ревком.

И вижу, один из патрульных всматривается мне в глаза, потом как-то жалостливо махнул рукой и говорит:

- Идите, доктор, домой.

И я пошел.

x x x

После молчания я спросил у Яшвина:
- Он умер? Убили вы его или только ранили?
Яшвин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой:
- О, будьте покойны. Я убил. Поверьте моему хирургическому опыту.

Николай Доризо

Фронтовая зима. Ленинград

Фронтовая зима. Ленинград…
«Здесь жил Пушкин».
«Здесь жил Маяковский».
Мрамор славы.
Бессмертья металл.
Видел мемориальные доски.
Но такую, клянусь, не видал, —
Так и рвется наружу страданье.
Фронтовая зима. Ленинград.
От всего многолюдного здания
Лишь один обгоревший фасад.
А к фасаду прибита фанера,
Обведенная черной каймой:
«В этом доме жила тетя Вера»,
Нацарапано детской рукой.

Николай Тихонов

РУКИ

Мороз был такой, что руки чувствовали его даже в теплых рукавицах. А лес вокруг как будто наступал на узкую ухабистую дорогу, по обе стороны которой шли глубокие канавы, заваленные предательским снегом. Деревья задевали сучьями машину, и на крышу кабинки падали снежные хлопья, сучья царапали бока цистерны. Много он видел дорог на своем шоферском веку, но такой еще не встречал. И как раз на ней приходилось работать, будто ты двужильный. Только приехал в землянку, где тесно, темно, сыро, только приклонил голову в уголке, между усталыми товарищами, уже

кличут снова, снова пора в путь. Спать будем потом. Надо работать. Дорога зовет. Тут не скажешь: дело не медведь, в лес не убежит. Как раз убежит. Чуть прозевал машина в кювете: проси товарищей вытаскивать. А мороз? Как будто сам Северный полюс пришел на эту лесную дорогу регулировщиком.

То наползает туман, то дохнет с Ладоги ветер, какого он нигде не встречал, - пронзительный, ревущий, долгий. То начнется пурга, в двух шагах ничего не видно. Покрышки тоже не железные, сдают. Товарищей, залезших в кюветы, надо выручать, раз едешь замыкающим; и главное - груз надо доставить вовремя. А как он себя чувствует, этот груз?..

Большаков остановил машину, вылез из кабины и, тяжело приминая снег, пошел к цистерне. Он влез на борт и при бледном свете зимнего полдня увидел, как по атласной от мороза стенке стекает непрерывная струйка. Холодок прошел по его спине. Цистерна текла. Цистерна лопнула по шву. Шов отошел. Горючее вытекало.

Он стоял и смотрел на узкую струйку, которую ничем не остановить. Так мучиться в дороге, чтобы к тому же привести к месту пустую цистерну? Он вспомнил все свои бывшие случаи аварий, но такого припомнить не мог. Мороз обжигал лицо. Стоять долго и просто смотреть - этим делу не поможешь. Он, проваливаясь в снег, пошел к кабинке. Политрук сидел, подняв воротник полушубка, уткнув замерзающий нос в согретую его дыханием овчину.

- Товарищ политрук, - позвал Большаков, - придется побеспокоить.

- А что, разве мы приехали уже? - спросил политрук, мгновенно пробудившись.

- Выходит, приехали, - сказал Большаков. - Цистерна течет. Что будем делать?

Политрук вывалился из кабинки. Он протирал глаза, спотыкался, но когда увидел, что случилось, стал задумчиво хлопать руку об руку, соображая, потом сказал:

- Поедем до первого пункта, там сольем горючее, в ремонт пойдем. Так?

- Да оно как бы и не так, - сказал Большаков. - Как же оно так, если мы горючее не куда-нибудь, а в Ленинград, фронту срочно везем.

Как же его просто сольешь?

- А что ты можешь? - сказал политрук, смотря, как скатывается бензиновая струйка

вдоль разошедшегося шва.

- Разрешите попробовать - чеканить его буду, - ответил Большаков.

Он открыл ящик со своими инструментами, и они показались ему орудиями пыток. Металл был как раскаленный. Но он храбро взял зубило, молоток, кусок мыла, похожего на камень, и влез на борт. Бензин лился ему на руки, и бензин был какой-то странный. Он жег ледяным огнем. Он пропитывал насквозь рукавицу, он просачивался под рукава гимнастерки. Большаков, сплевывая, в безмолвном отчаянии разбивал шов и замазывал его мылом. Бензин перестал течь.

Вздохнув, он пошел на свое место. Они проехали километров десять. Большаков остановил машину и пошел осмотреть цистерну. Шов разошелся снова. Струйка бензина бежала вдоль круглой стенки. Надо было все начинать сначала. И снова гремело зубило, и снова бензин обжигал руки, и снова мыльная полоса наращивалась на разбитые края шва. Бензин перестал течь. Дорога была бесконечной.

Он уже не считал, сколько раз он слезал и взбирался на борт машины, он уже перестал чувствовать боль от ожогов бензина, ему казалось, что все это снится: дремучий лес, бесконечные сугробы, льющийся по рукам бензин.

Он в уме подсчитывал, сколько уже вытекло драгоценного горючего, и по подсчетам выходило, что не очень много - литров сорок - пятьдесят; но, если бросить чеканить через каждые десять - двадцать километров, вся работа будет впустую. И он снова начинал все сначала с упорством человека, потерявшего представление о времени и пространстве.

Ему уже начало от усталости казаться, что он не едет, а стоит на месте и каждые сорок минут хватает зубило, а щель все ширится и смеется над ним и его усилиями.

Неожиданно за поворотом открылись пустые странные пространства, неохватные, белесые. Дорога пошла по льду. Широчайшее озеро по-звериному дышало на него, но ему уже было не страшно. Он вел машину уверенно, радуясь тому, что лес кончился. Иногда он стукался головой о баранку, но сейчас же брал себя в руки. Сон налегал на плечи, как будто за спиной стоял великан и давил ему голову и плечи большими руками в мягких, толстых рукавицах. Машина, подпрыгивая, шла и шла. А где-то внутри его, замерзшего, в дым усталого существа, жила одна непонятная радость: он твердо знал, что он выдержит. И он выдержал. Груз был доставлен.

...В землянке врач с удивлением посмотрел на его руки с облезшей кожей, изуродованные, сожженные руки, и сказал недоумевающе:

- Что это такое?

- Шов чеканил, товарищ доктор, - сказал он, сжимая зубы от боли.

- А разве нельзя было остановиться в дороге? - сказал доктор. - Не маленький, сами понимаете, в такой мороз так залиться бензином...

- Остановиться было нельзя, - сказал он.

- Почему? Куда такая спешка? Куда вы везли бензин?

- В Ленинград вез, фронту, - отвечал он громко.

Доктор взглянул на него пристальным взглядом.

- Та-ак, - протянул он, - в Ленинград! Понимаю! Больше вопросов нет. Давайте бинтоваться. Полечиться надо.

- Отчего не полечиться! До утра полечусь, а утром - в дорогу... В бинтах еще теплее вести машину, а боль уж мы как-нибудь в зубах зажмем...

- «Любовь и уважение к родителям без всякого сомнения есть чувство святое» (В.Г.Белинский).
- «Любовь к родителям – основа всех добродетелей» (Цицерон).
- Три бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. От старости и смерти никто не может закрыть двери своего дома, но от плохих детей дом могут уберечь сами дети»(В.А.Сухомлинский).
- «Неблагодарный сын хуже чужого: это преступник, так как сын не имеет права быть равнодушным к матери» (Г.Мопассан).
- «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» (А.С.Пушкин).
- «Острее жалит боль, когда ее причиняет кто-нибудь из близких» (Бабрий).
- «Ничто не бывает так редко на свете, как полная откровенность между родителями и детьми»(Р.Роллан).
- И вы поспешили-то, в общем, зря

Шуметь про «сверхновые отношения»,

Всегда на земле и при всех поколениях

Были и лужицы, и моря.

Э.Асадов

- Каждое поколение считает себя более умным, чем предыдущее, и более мудрым, чем последующее» (Джордж Оруэлл)
- «Искусство старения состоит в том, чтобы быть для молодых опорой, а не препятствием, учителем, а не соперником, понимающим, а не равнодушным» (Андре Моруа)

Проблема черствости и жестокости людей в трудное время.

Проблема взаимопомощи, помощи тем, кто в ней нуждается

Виктор Конецкий
ТАМАРА
Фрагмент повести
«Кто смотрит на облака»

Тамара Яременко, пятнадцати лет, полурусская-полуукраинка, родившаяся в Киеве и потерявшая мать во время бомбардировки Нежина, добралась до Ленинграда к тетке по отцу. Тамара была девочка высокого роста и выглядела старше своих лет. Тетку Анну Николаевну она никогда раньше не видела, и отношения у них сложились тяжелые. Анна Николаевна хотела спасти от гибели десятилетнюю дочь Катю, ради нее шла на любые жертвы, а Тамара, свалившаяся на голову в самое страшное время, вынуждала к заботам о себе. Но Тамаре некуда было ехать. Да и Ленинград был окружен. По мере того как голод увеличивался, морозы усиливались, безнадежность в душе Тамары росла. И, как это ни странно, главной успокаивающей мыслью была у Тамары мысль о том, что ей не надо ходить в школу и что она может забыть о своем высоком росте, из-за чего мальчишки раньше смеялись над ней. Она понимала, что слабеет и что может умереть скоро, но не пугалась этого, потому что не успела повзрослеть от несчастий. И когда во время воздушных тревог она читала Кате**«Хижину дяди Тома»**, то плакала с ней вместе. Тамара не поднималась в мыслях до судеб страны, своего народа, хотя давно привыкла говорить не «честное пионерское», а «честное комсомольское». Она как бы замерла, ожидая возвращения той жизни, которой она жила недавно в зеленом городе Киеве, над Днепром, среди тихого**стрекота** стручков **акаций**, с мамой и отцом.

Ранним утром четвертого января сорок второго года Тамара стояла в очереди к булочной на площади Труда. «Небо уже фиолетовое,– думала она.– Скоро откроют дверь. Добавок, если он будет маленький, я съем. Прижму его языком к зубам и буду держать. Из него пойдет сок. В нем много сока, особенно в корке, хотя она и твердая. А о морозе лучше не думать. Если долго что-нибудь терпеть, уже ничего и не замечаешь. В таком небе мороз еще больше, чем на земле, и летчикам, наверное, еще хуже, чем нам. Если сейчас не откроют дверь, я закричу. Я совсем, совсем уже не могу. Почему, когда людям плохо, морозы совсем фиолетовые? Если есть Бог, он злой. Моему животу еще никогда не было так холодно. Господи, прости меня, пускай дверь откроют. И пусть они свешают хлеб с добавком, потому что я никогда не отковырну кусочек от целой **пайки**… А у старушки уже не идет пар изо рта. Зря она села на тумбу. Если я не пошевелюсь, то тоже умру. Ничего, ничего, откроют же они дверь когда-нибудь. Они нас обвешивают, крошки падают сквозь деревянную решетку, и под прилавком к вечеру набирается целая гора крошек: и продавщицы их едят, они обязательно их воруют. Но все их боятся, потому что они могут обвесить еще больше. Мороз такой синий- синий. Нет, нельзя плакать. Я приду домой, лягу, укроюсь с головой и тогда буду плакать. Сколько я не съела завтраков на переменках в школе, сколько не съела винегрета! Когда булка подсыхала и масло на ней желтело, я выбрасывала завтрак… Вот. Они открывают дверь. Куда лезет этот **ремесленник**? Ага, его отпихнули. Так ему и надо. Дяденьку запустили. И тетеньку из проходного двора. Меня – в следующий раз. А бабушка замерзла. И бидон на снегу стоит. И кто-нибудь вытащит у нее карточки, потому что нет ни патрулей, ни милиционера…»

Тамара стояла теперь возле самой булочной. Стекло в двери было выбито и заколочено досками. На шляпке каждого гвоздя нарос иней. Из булочной слышался глухой топот от переминания многих ног по **простывшему** полу. Слева от дверей стоял ремесленник – мальчишка лет пятнадцати, в рваном форменном ватнике, с замотанной полотенцем шеей, в натянутой на уши кепке. Он прислонился к стене, глаза его полузакрылись, как у спящей птицы, синее лицо не выражало ничего. Он несколько раз совался к дверям, но его отталкивали. И он стоял возле стены, не понимая, что надо занять очередь в конце, потому что приходят все новые люди и они не пустят его впереди себя, хотя он пришел раньше их.

Город медленно выползал из тьмы, но не просыпался,потому что и не спал. Город и днем и ночью хранил в себе **оцепенелость**. Простор площади волнился сугробами. Между сугробами извивалась очередь в булочную. С крыш курилась снежная пыль. И все это было беззвучно. Как будто город стоял на дне мертвого моря. Густо заиндевелые деревья, разрушенные здания, мосты, набережные, очередь в булочную – все это было затоплено студеным морем.

Ремесленник открыл глаза и сказал шепотом:

– Граждане, я вчера здесь, в булочной, карточки потерял, пустите, граждане, не вру, граждане, помираю.

Никто ему не ответил.

«Если карточки потерял, зачем тебе в булочную,– думала Тамара.– Нет, ты не двигайся, ничего у тебя не выйдет. Я тебе не верю. А может быть, я тебе верю, но лучше мне тебе не верить. Это так страшно – потерять карточки. Лучше пускай бомба упадет прямо в кровать. Только немцы мало бомбят зимой. И лучше бы наши не

стреляли из зениток. Как только наши начинают стрельбу, так они и бросают бомбы».

Дверь отворилась, и кто-то сказал:

– Следующие двадцать.

В булочной пар от дыхания витал над огоньками коптилок. **Коптилки** горели возле продавщиц. За спинами продавщиц на полках лежали буханки. Длинные ножи, одним концом прикрепленные к прилавку, поднимались над очередной буханкой, опускались на нее, зажимали и медленно проходили насквозь. И края разреза лоснились от нажима ножа. А вокруг было, как в храме, приглушенно. И все смотрели на хлеб, на нож, на весы, на руки продавщиц, на крошки, на кучки карточных **талонов** и на ножницы, которые быстрым зигзагом выхватывали из карточек талоны.

Тамара получила хлеб на один день, потому что на завтра не давали. Норма могла вот-вот измениться. И никто не знал, в какую сторону. Тронуть **добавок** она не решилась. Положила хлеб на ладонь левой руки и прикрыла его сверху правой. До дома близко – три квартала, и хлеб не должен был замерзнуть. Она открыла ногой дверь из булочной, потом просунула в щель голову, потом плечо, потом шагнула в умятый снег, блестевший от утреннего солнца.

И сразу черная очередь, белые сугробы и фонарный столб помчались мимо нее в сверкающее утреннее небо. Ремесленник толкнул Тамару, прыгнул на нее, вырвал хлеб, закусил его и скорчился на снегу, поджимая коленки к самой голове. Очередь медленно приблизилась к ремесленнику, и он исчез под валенками, сапогами, калошами и ботинками. Люди из очереди держались за плечи друг друга. Ремесленник не отбивался, только старался прятать лицо в снег, чтобы можно было глотать хлеб. Потом закричал. Очередь тихо вернулась на свои места. А Тамара вытащила из костлявых пальцев ремесленника остаток хлеба, заслюнявленный, со следами зубов. «Анна Николаевна мне не поверит,– подумала она с безразличием.– Она велела мне взять **авоську**, а я не взяла, забыла». Ремесленник пошевелился и сел на снегу. Кровь каплями падала изо рта на сизый ватник. Кепку его втоптали в снег, и бледные волосы мальчишки шевелил ветер. Но его широкое во лбуи узкое в подбородке, с морщинистой кожей, лицо было смиренным.

– Ты что, с ума сошел? – спросила Тамара.

Она засунула остаток хлеба в варежку и пошла к **каналу** Круштейна, мимо разбитой витрины аптеки, мимо вывески «Сберегательная касса», мимо старинной чугуннойтумбы на углу. Бухнул снаряд, и звук разрыва среди оцепенелой тишины прозвучал как нечто живое. Тамара поднялась на третий этаж, ощупью, в темноте, миновала коридор и наконец отворила дверь комнаты. Окна комнаты выходили в узкий дворовый колодец, и потому стекла уцелели. Две кровати молчали в углах, заваленные мягким барахлом.

Анна Николаевна и Катя спали. «Я не стану будить их,– решила Тамара.– Я оставлю свою карточку, чемодан и туфли. Завтра они получат и мои сто двадцать пять грамм. А я куда-нибудь пойду. Хорошо, что вы спите, Анна Николаевна. Прощай, Катя. Если бы можно было сделать, чтобы не было сегодня и сейчас… Но это никак нельзя. Вот, я взяла только кольцо. Мама сказала носить его всегда. Оно не золотое, Анна Николаевна, оно серебряное с позолотой. За него не дадут и крошки хлеба,

честное слово».

Тамара тихо прикрыла дверь, прошла кухню, коридор, спустилась по лестнице, вышла на канал, потом на площадь, мимо старинной чугунной тумбы на углу, мимо вывески «Сберегательная касса», и оказалась на бульваре Профсоюзов. Вдоль бульвара стояли замерзшие троллейбусы, свесив нелепо дуги, растопырив широкие колеса. Ветер мел **поземку**. Индевелые деревья смыкались ветвями над головой. Скоро они начали кружиться, и Тамара уже не знала, идет она, или стоит, или сидит, и не знала, ночь сейчас или день.

…Арка почтамта, замерзшие часы. Черные матросы из патруля с автоматами на груди. Машина с надписью: «Почта». Живая машина, от нее сзади летит теплый дымок. Тамара толкнулась в высокие двери почтамта. Они с трудом поддались. Огромный зал с белой, сверкающей крышей. И пакеты, пакеты, мешки, мешки… И ни капельки не теплее, чем на улице. Но нет ветра. Она села в уголок, натянула полы пальто на колени, засунула руки в рукава, зажмурилась и увидела большой желтый, перезрелый огурец. И коров, привязанных веревкой за рога к телегам беженцев. Коровы шагали, широко расставляя задние ноги, их давно не доили.

– Нашла место спать! – громко сказал кто-то.– От какого **райкома**?

Человек был высокий, в белом полушубке, один рукав засунут под ремень.

– Я приезжая, я тут не помешаю, честное слово. Я карточки потеряла,– сказала Тамара.

– Комсомолка? Тебя, черт побери, спрашивают!

– Да. Только я с войны **взносы** не платила…

– Безобразие,– сказал Однорукий.– Распущенность. Секли тебя мало в раннем детстве. Секли или нет?

– Не знаю,– сказала Тамара.

– Пороли тебя или нет в детстве?

– Не знаю. Не выгоняйте меня, я не буду ничего плохого…

– Вставай!

Он взял ее рукой за воротник, приподнял, встряхнул, потом проволок в **вестибюль** и вытолкнул через тяжелые двойные двери на улицу. И она сразу села в снег.

– Очень хорошо,– сказал он.– Так и сиди. Сюжет будет называться: «Она потеряла карточки». Черт, затвор сразу замерзает! Знала бы ты, как трудно фотографировать одной рукой! Все. Вставай! Нам надо идти, слышишь? Здесь близко у меня есть великолепный угол, и там горит печь, и клей варится уже третий час.

Однорукий опять схватил ее за воротник и поднял на ноги. Желтая арка почтамта и большие синие часы. Черные матросы из патруля с оранжевыми автоматами на груди. Сверкающий снег и падающий с проводов сверкающий иней. И где-то недалеко – бум! – в простывший камень ударило горячее, острое и тяжелое.

– Шагай, шагай,– говорил Однорукий.– Ты не такая дохлая, как думаешь. В тебе полно жизни. Я тебя отогрею и пошлю работать. Ты пойдешь разносить **корреспонденцию**. Видишь, дверь под лестницей? Жить под лестницей спокойнее в такое время. Самое крепкое на свете – то, по чему людишки поднимаются вверх. Садись к печке и теперь можешь спать. А через два часа ты пойдешь на работу.

Она села на койку к печке, и на миг ей почудились вечерние облака за Днепром и

низко летящие над водой птицы. А потом она канула в сон. И проснулась, когда Однорукий опять тряс ее за шиворот. Она не сразу вспомнила, как попала сюда.

– **Очухайся**,– сказал Однорукий.– Чего ты зовешь маму? Я снял пену уже четвертый раз… Ты варила клей? Видишь, он кипит бурно, а пена не выделяется. Будем снимать? Веселенькое получится дело, если склеются кишки! Особенно мне будет плохо.

– Почему? – спросила Тамара.

– Одной рукой распутывать кишки труднее, чем двумя. Поверь, у меня есть **прецедент**. Пришлось зазимовать возле **Новой Земли** на ледоколе. Капитан напился в колонии и на сутки опоздал к отходу.

Рассказывая, Однорукий переливал сваренный **столярный клей** из кастрюльки в кастрюльку. – Команда чуть не избила старика, когда мы поняли, что зимуем из-за его затяжной пьянки. Через месяц жрали только по банке консервов на рот и по сто граммов сухарей. Сейчас-то кажется, что очень много! Потом к нам пробился «**Красин**». Три дня в Архангельске нас не забирала милиция. Можно было разбить витрину и лежать среди окороков, и тебя бы все равно не забрали в милицию… Теперь я выставлю **варево** на мороз, и через пять минут будем его глотать.

– Не ставьте за дверь, дяденька,– сказала Тамара.– Унесут коты.

– Начатки логического мышления к тебе уже вернулись,– сказал Однорукий.– Теперь осталось вернуть память: последнего кота здесь съели месяца два назад. И не пей холодной воды после моего студня. Кипяточком побалуемся, а холодного не вздумай пить. И учти, пить будет хотеться здорово.

– Честное комсомольское, не буду.

– Меня Валерий Иванович зовут. Тебе сколько лет?

– Скоро будет шестнадцать.

– Я думал, больше… Пойдешь для начала здесь, близко, по набережным. Вот, видишь эту сумку? Ее носила Оля. Тебе придется быть достойной ее светлой памяти. На дворников только не надейся. Сволота наши дворники оказались. Ночевать придешь сюда. Как зовут?

– Тамара.

Он принес **студень** и вывалил его из кастрюльки на тарелку, посолил и разрезал вилкой на доли. Это был прекрасный студень. Он был вкуснее всего на свете, хотя в нем вообще не было ни вкуса, ни запаха. И жевать его было совсем нельзя: он сразу проскальзывал в горло. Потом они напились кипятку, и Однорукий сказал:

– Если ты бросишь сумку или письма, то станешь подлецом и умрешь подлецом. Если ты разнесешь их по адресам, **комсомол** будет гордиться тобой.

И она ощутила тяжесть почтовой сумки на своем плече и решила, что если есть Бог, то он хороший…

Проблема изображения русского национального характера

Проблема отношения к жизни

Проблема отзывчивости

Василий Макарович Шукшин. Чудик

Жена называла его - Чудик. Иногда ласково.

Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории - мелкие, впрочем, но досадные.

Вот эпизоды одной его поездки.

Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не виделись.

- А где блесна такая... на-подвид битюря?!- орал Чудик из кладовой.

- Я откуда знаю?

- Да вот же все тут лежали!- Чудик пытался строго смотреть круглыми иссиня-белыми глазами.- Все тут, а этой, видите ли, нету.

- На битюря похожая?

- Ну, щучья.

- Я ее, видно, зажарила по ошибке.

Чудик некоторое время молчал.

- Ну, и как?

- Что?

- Вкусная? Ха-ха-ха!..- Он совсем не умел острить, но ему ужасно хотелось.- Зубки-то целые? Она ж - дюралевая!..

...Долго собирались - до полуночи.

А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.

- На Урал! На Урал!- отвечал он на вопрос: куда это он собрался?Проветриться надо!- При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам - они его не пугали.- На Урал!

Но до Урала было еще далеко.

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть на поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племяшам - конфет, пряников... Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы - полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

- Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот - без году неделя руководит коллективом - и уже: "Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?" Нах-хал!

Шляпа поддакивала.

- Да, да... Они такие теперь. Подумаешь, склероз. А Сумбатыч?.. Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу,

стал укладывать... Что-то глянул на полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтоб его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.

- Хорошо живете, граждане!- сказал он громко и весело.

На него оглянулись.

- У нас, например, такими бумажками не швыряются.

Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка - пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки - нет.

"Наверно, тот, в шляпе",- догадался Чудик.

Решили положить бумажку на видное место на прилавке.

- Сейчас прибежит кто-нибудь,- сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: "У нас, например, такими бумажками, не швыряются!" Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане... Сунулся в карман - нету. Туда-сюда - нету.

- Моя была бумажка-то!- громко сказал Чудик.- Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то.

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: "Граждане, моя бумажка-то Я их две получил в сберкассе - одну двадцатипятирублевую, другую полусотельную. Одну, двадцатипятирублевую, сейчас разменял, а другой - нету". Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие "Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить". Нет, не пересилить себя - не протянуть руку за проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать.

- Да почему же я такой есть-то?- вслух горько рассуждал Чудик.- Что теперь делать?..

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа... И не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

Ехал в автобусе и негромко ругался - набирался духу предстояло объяснение с женой.

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъясняла жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки... Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории. Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

- У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил головешку - и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит. "Руки, кричит, руки-то не

обожги, сынок!" О нем же и заботится... А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным...

- Сами придумали?- строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

- Зачем?- не понял тот.- У нас за рекой, деревня Раменское...

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости. "Неужели в нем за полтора часа ни один винтик не испортится!"- думал. Потом - ничего, осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так ему было интересно, что там, в газете, что уж послушать живого человека ему не хотелось. А Чудик хотел выяснить вот что он слышал, что в самолетах дают поесть. А что-то не несли. Ему очень хотелось поесть в самолете - ради любопытства.

"Зажилили",- решил он.

Стал смотреть вниз. Горы облаков внизу. Чудик почему-то не мог определенно сказать: красиво это или нет? А кругом говорили, что "ах, какая красота!". Он только ощутил вдруг глупейшее желание - упасть в них, в облака, как в вату. Еще он подумал. "Почему же я не удивляюсь? Ведь подо мной чуть ли не пять километров". Мысленно отмерил эти пять километров на земле, поставил их "на попа" - чтоб удивиться, и не удивился.

- Вот человек!.. Придумал же,- сказал он соседу. Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой.

- Пристегнитесь ремнями!- сказала миловидная молодая женщина.- Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед - ноль внимания. Чудик осторожно тронул его.

- Велят ремень застегнуть.

- Ничего,- сказал сосед Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то:- Дети - цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

- Как это?- не понял Чудик.

Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить.

Быстро стали снижаться. Вот уже земля - рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объяснили знающие люди, летчик "промазал". Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Это читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали - это поразило Чудика. Он тоже молчал. Стали. Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет - на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его.

- Мы, кажется, в картошку сели?

- Что, сами не видите,- ответил летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить.

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.

- Эта?!- радостно воскликнул он, И подал.

У читателя даже лысина побагровела.

- Почему обязательно надо руками трогать?- закричал он шепеляво.

Чудик растерялся.

- А чем же?..

- Где я ее кипятить буду?! Где?!

Этого Чудик тоже не знал.

- Поедемте со мной?- предложил он.- У меня тут брат живет. Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету...

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

"Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Васятка".

Телеграфистка, строгая сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

- Составьте иначе. Вы - взрослый человек, не в детсаде.

- Почему?- спросил Чудик.- Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали...

- В письмах можете писать что угодно, а телеграмма - это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал.

"Приземлились. Все в порядке. Васятка".

Телеграфистка сама исправила два слова: "Приземлились" и "Васятка" Стало: "Долетели. Василий".

- "Приземлились". Вы что, космонавт, что ли?

- Ну, ладно,- сказал Чудик.- Пусть так будет.

...Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников... О том, что должна еще быть сноха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

Тополя-а-а...

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

- А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно?- И хлопнула дверью.

Брату Дмитрию стало неловко.

- Это... там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.

Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца.

- А помнишь?- радостно спрашивал брат Дмитрий.- Хотя, кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уже не стали оставлять. И все равно, только отвернутся, я около тебя - опять целую. Черт знает, что за привычка была. У самого-то еще сопли по колена, а уж... это... с поцелуями...

- А помнишь?!- тоже вспомнил Чудик.- Как ты меня...

- Вы прекратите орать?- опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно.- Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же - разговорились.

- Пойдем на улицу,- сказал Чудик. Вышли на улицу, сели на крылечке.

- А помнишь?- продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.

- Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата.

- Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они - психи. У меня такая же.

- Ну чего вот невзлюбила?!! За што? Ведь она невзлюбила тебя... А за што?

Тут только понял Чудик, что - да, невзлюбила его сноха. А за что действительно?

- А вот за то, што ты - никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает.. Она и меня-то тоже ненавидит - что я не ответственный, из деревни.

- В каком управлении-то?

- В этом... горно... Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Што она, не знала, што ли?

Тут и Чудика задело за живое.

- А в чем дело, вообще-то?- громко спросил он, не брата, кого-то еще.- Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь -выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так - выходец, рано пошел работать

- А сколько я ей доказывал в деревне-то люди лучше, незаносистые.

- А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его.

- Знал, как же.

- Уже там куда деревня!.. А - пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали - без вести...

- А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста - кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори .. Не надо.

- Ладно. А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

- Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь - как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его - до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными...

Потом они устали.

- Крышу-то перекрыл?- спросил старший брат негромко.

- Перекрыл.- Чудик тоже тихо вздохнул -Веранду построил - любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду.. начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятишками приехал - сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невзлюбит. А я как-нибудь поласковей буду, она, глядишь, отойдет.

- А ведь сама из деревни! - как-то тихо и грустно изумился Дмитрий.А вот... Детей замучила, дура одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а - не скажи, сразу ругань.

- Ммх!..- опять возбудился Чудик.- Никак не понимаю эти газеты вот, мол, одна такая работает в магазине - грубая. Эх, вы!.. а она домой придет - такая же. Вот где горе-то! И я не понимаю!- Чудик тоже стукнул кулаком по колену.- Не понимаю: почему они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было; брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети, постарше, играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза ему попалась детская коляска. "Эге!- подумал Чудик.- Разрисую-ка я ее". Он дома так разрисовал печь, что все дивились Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено; коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов - стайку уголком, по низу - цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток... Осмотрел коляску со всех сторон - загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

- А ты говоришь - деревня. Чудачка.- Он хотел мира со снохой.Ребеночек-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрины. Купил катер племяннику, хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. "Я его тоже разрисую",- думал.

Часов в 6 Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял:

- Да ну, что тут!.. Да ладно... Сонь... Ладно уж...

- Чтоб завтра же этого дурака не было здесь!- кричала Софья Ивановна.- Завтра же пусть уезжает!

- Да ладно тебе!.. Сонь...

- Не ладно! Не ладно! Пусть не дожидается - выкину его чемодан к чертовой матери, и все!

Чудик поспешил сойти с крыльца... А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

- Да почему же я такой есть-то?- горько шептал он, сидя в сарайчике.Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества.

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился - как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

- Вот...- сказал он.- Это... опять расшумелась. Коляску-то... не надо бы уж.

- Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.

Брат Дмитрий вздохнул... И ничего не сказал.

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле - в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко:

Тополя-а а, тополя а...

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал. Звали его - Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.

Проблема счастья

Проблема хамства, равнодушия

Василий Шукшин

Сапожки

Ездили в город за запчастями… И Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки. И потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть один раз-то, думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый подарок… Она таких сапожек во сне не носила.

Сергей долго любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка и спросил весело:

– Это сколько же такие пипеточки стоят?

– Какие пипеточки? – не поняла продавщица.

– Да вот… сапожки-то.

– Пипеточки какие-то… Шестьдесят пять рублей. Сергей чуть вслух не сказал "О, "!.."– протянул:

– Да… Кусаются.

Продавщица презрительно посмотрела на него. Странный они народ, продавщицы: продаст обыкновенный килограмм пшена, а с таким видом, точно вернула забытый долг.

Ну, дьявол с ними, с продавщицами. Шестьдесят пять рублей у Сергея были. Было даже семьдесят пять. Но… Он вышел на улицу, закурил и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если уж говорить честно. Хотя она их, конечно, беречь будет… Раз в месяц и наденет-то – сходить куда-нибудь. Да и не наденет в грязь, а – посуху. А радости сколько! Ведь это же черт знает какая дорогая минута, когда он вытащит из чемодана эти сапожки и скажет: "На, носи".
Сергей пошел к ларьку, что неподалеку от магазина, и стал в очередь за пивом. Представил Сергей, как заблестят глаза у жены при виде этих сапожек. Она иногда, как маленькая, до слез радуется. Она вообще-то хорошая. С нами жить – надо терпение да терпение, думал Сергей. Одни проклятые выпивки чего стоят. А ребятишки, а хозяйство… Нет, они двужильные, что могут выносить столько. Тут хоть как-нибудь, да отведешь душу: выпьешь когда – все легче маленько, а ведь они с утра до ночи, как заводные.
Очередь двигалась медленно, мужики без конца "повторяли". Сергей думал. Босиком она, правда, не ходит, чего зря прибедняться-то? Ходит, как все в деревне ходят… Красивые, конечно, сапожки, но не по карману. Привезешь, а она же первая заругает. Скажет, на кой они мне, такие дорогие! Лучше бы девчонкам чего-нибудь взял, пальтишечки какие-нибудь – зима подходит.
Наконец Сергей взял две кружки пива, отошел в сторону и медленно стал пропускать по глоточку. И думал.
Вот так живешь – сорок пять лет уже, – все думаешь: ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет… И так и подойдешь к той ямке, в которую надо ложиться, – а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать? Вот же: есть деньги, лежат необыкновенные сапожки – возьми, сделай радость человеку! Может, и не будет больше такой возможности. Дочери еще не невесты – чего-ничего, а надеть можно – износят. А тут – один раз в жизни… Сергей пошел в магазин.
– Ну-ка дай-ка их посмотреть, – попросил он.
– Чего?
– Сапожки.
– Чего их смотреть? Какой размер нужен?
– Я на глаз прикину. Я не знаю, какой размер.
– Едет покупать, а не знает, какой размер. Их примерять надо, это не тапочки.
– Я вижу, что не тапочки. По цене видно, хэ-хэ…
– Ну и нечего их смотреть.
– А если я их купить хочу?
– Как же купить, когда даже размер не знаете?
– А вам-то что? Я хочу посмотреть.
– Нечего их смотреть. Каждый будет смотреть.
– Ну, вот чего, милая, – обозлился Сергей, – я же не прошу показать мне ваши панталоны, потому что не желаю их видеть, а прошу показать сапожки, которые лежат на прилавке.
– А вы не хамите здесь, не хамите! Нальют глаза-то и начинают…
– Чего начинают? Кто начинает? Вы то, поили меня что так говорите?

Продавщица швырнула ему один сапожок. Сергей взял его, повертел, поскрипел хромом, пощелкал ногтем по лаково блестевшей подошве… Осторожненько запустил руку вовнутрь…
"Нога-то в нем спать будет", – подумал радостно
– Шестьдесят пять ровно?– спросил он.
Продавщица молча, зло смотрела на него.
"О господи!– изумился Сергей. – Прямо ненавидит. За что?"
– Беру, – сказал он поспешно, чтоб продавщице поскорей бы уже отмякла, что ли, – не зря же он отвлекает ее, берет же он эти сапожки. – Вам платить или кассиру?
Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко:
– В кассу.
– Шестьдесят пять ровно или с копейками?
Продавщица все глядела на него; в глазах ее, когда Сергей повнимательней посмотрел, действительно стояла белая ненависть. Сергей струсил… Молча поставил сапожок и пошел к кассе. "Что она?! Сдурела, что ли, – так злиться? Так же засохнуть можно, не доживя веку".
Оказалось, шестьдесят пять рублей ровно. Без копеек. Сергей подал чек продавщице. В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше тощей груди. "Больная, наверно", – пожалел Сергей.
А продавщица чек не брала. Сергей поднял глаза… Теперь в глазах продавщицы была и ненависть, и какое-то еще странное удовольствие.
– Я прошу сапожки.
– На контроль, – негромко сказала она.
– Где это? – тоже негромко спросил Сергей, чув ствуя, что и сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу.
Продавщица молчала. Смотрела.
– Где контроль-то? – Сергей улыбнулся прямо в глаза ей. – А? Да не гляди ты на меня, не гляди, милая, – женатый я. Я понимаю, что в меня сразу можно влюбиться, но… что я сделаю? Терпи уж, что сделаешь? Так где, говоришь, контроль-то?
У продавщицы даже ротик сам собой открылся… Такого она не ждала.
Сергей отправился искать контроль.
"О-о! – подивился он на себя. – Откуда что взялось! Надо же так уесть бабу. А вот не будешь психовать зря. А то стоит – вся изозлилась".
На контроле ему выдали сапожки, и он пошел к своим, на автобазу, чтобы ехать домой. (Они приезжали на своих машинах, механик и еще два шофера.)
Сергей вошел в дежурку, полагая, что тотчас же все потянутся к его коробке – что, мол, там? Никто даже не обратил внимания на Сергея. Как всегда – спорили. Видели на улице молодого попа и теперь выясняли, сколько он получает. Больше других орал Витька Кибяков, рябой, бледный, с большими печальными глазами. Даже когда он надрывался и, между прочим, оскорблял всех, глаза оставались печальными и умными, точно они смотрели на самого Витьку – безнадежно грустно.
– Ты знаешь, что у него персональная "Волга"?! – кричал Рашпиль (Витьку звали "Рашпиль"), – У их, когда они еще учатся, стипендия – сто пятьдесят рублей! Понял? Сти-пен-дия!

– У них есть персональные, верно, но не у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Персональные – у этих… апостолов. Не у апостолов, а у этих… как их?..
– Понял? У апостолов – персональные "Волги"! Во, пень дремучий. Сам ты апостол!
– Сто пятьдесят стипендия! А сколько же тогда оклад?
– А ты что, думаешь, он тебе за так будет гонениям подвергаться? На! Пятьсот рублей хотел?
– Он должен быть верующим!
Сергей не хотел ввязываться в спор, хотя мог бы поспорить: пятьсот рублей молодому попу – это много. Но спорить сейчас об этом… Нет, Сергею охота было показать сапожки. Он достал их, стал разглядывать. Сейчас все заткнутся с этим попом… Замолкнут. Не замолкли. Посмотрели, и все. Один только протянул руку – покажи. Сергей дал сапожок. Шофер (незнакомый) поскрипел хромом, пощелкал железным ногтем по подошве… И полез грязной лапой в белоснежную, нежную… внутрь сапожка. Сергей отнял сапожок.
– Куда ты своим поршнем?
Шофер засмеялся.
– Кому это?
– Жене.
Тут только все замолкли.
– Кому? – спросил Рашпиль.
– Клавке.
– Ну-ка?..
Сапожок пошел по рукам; все тоже мяли голенище, щелкали по подошве… Внутрь лезть не решались. Только расшеперивали голенище и заглядывали в белый, пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал прежде незнакомую гордость.
– Сколько же такие?
– Шестьдесят пять.
Все посмотрели на Сергея с недоумением. Сергей слегка растерялся.
– Ты что, офонарел?
Сергей взял сапожок у Рашпиля.
– Во! – воскликнул Рашпиль. – Серьга… дал! Зачем ей такие?
– Носить.
Сергей хотел быть спокойным и уверенным, но внутри у него вздрагивало. И привязалась одна тупая мысль: "Половина мотороллера. Половина мотороллера". И хотя он знал, что шестьдесят пять рублей – это не половина мотороллера, все равно упрямо думалось. "Половина мотороллера".
– Она тебе велела такие сапожки купить?
– При чем тут велела? Купил, и все.
– Куда она их наденет-то? – весело пытали Сергея. – Грязь по колено, а он – сапожки за шестьдесят пять рублей.
– Это ж зимние!
– А зимой в них куда?
– Потом, это ж на городскую ножку. Клавкина-то не полезет сроду… У ей какой размер-то? Это ж ей – на нос только.

– Какой она носит-то?
– Пошли вы!.. – вконец обозлился Сергей. – Чего вы-то переживаете?
Засмеялись.
– Да ведь жалко, Сережа! Не нашел же ты их, шестьдесят пять рублей-то.
– Я заработал, я и истратил, куда хотел. Чего базарить-то зря?
– Она тебе, наверно, резиновые велела купить? Резиновые… Сергей вовсю злился.
– Валяйте лучше про попа – сколько он все же получает?
– Больше тебя.
– Как эти… сидят, курва, чужие деньги считают. – Сергей встал. – Больше делать, что ли, нечего?
– А чего ты в бутылку-то лезешь? Сделал глупость, тебе сказали. И не надо так нервничать…
– Я и не нервничаю. Да чего ты за меня переживаешь-то?! Во, переживатель нашелся! Хоть бы у него взаймы взял, или что…
– Переживаю, потому что не могу спокойно на дураков смотреть. Мне их жалко…
– Жалко – у пчелки в попке. Жалко ему!
Еще немного позубатились и поехали домой. Дорогой Сергея доконал механик (они в одной машине ехали).
– Она тебе на что деньги-то давала? – спросил механик. Без ехидства спросил, сочувствуя. – На что-нибудь другое?
Сергей уважал механика, поэтому ругаться не стал.
– Ни на что. Хватит об этом.

Приехали в село к вечеру.
Сергей ни с кем не подосвиданькался… Не пошел со всеми вместе – отделился, пошел один. Домой. Клавдя и девочки вечеряли.
– Чего это долго-то? – спросила Клавдя. – Я уж думала, с ночевкой там будете.
– Пока получили да пока на автобазу перевезли… Да пока там их разделили по районам…
– Пап, ничего не купил? – спросила дочь, старшая, Груша.
– Чего? – По дороге домой Сергей решил так: если Клавка начнет косоротиться, скажет – дорого, лучше бы вместо этих сапожек… "Пойду и брошу их в колодец".
– Купил.
Трое повернулись к нему от стола. Смотрели. Так это "купил" было сказано, что стало ясно – не платок за четыре рубля купил муж, отец, не мясорубку. Повернулись к нему… Ждали.
– Вон, в чемодане. – Сергей присел на стул, полез за папиросами. Он так волновался, что заметил: пальцы трясутся.
Клавдя извлекла из чемодана коробку, из коробки вытянула сапожки… При электрическом свете они были еще красивей. Они прямо смеялись в коробке. Дочери повскакивали из-за стола… Заахали, заохали.
– Тошно мнеченьки! Батюшки мои!.. Да кому это?
– Тебе, кому.

– Тошно мнеченьки!.. – Клавдя села на кровать, кровать заскрипела… Городской сапожок смело полез на крепкую, крестьянскую ногу. И застрял. Сергей почувствовал боль. Не лезли… Голенище не лезло.
– Какой размер-то?
– Тридцать восьмой…
Нет, не лезли. Сергей встал, хотел натиснуть. Нет.
– И размер-то мой…
– Вот где не лезут-то. Голяшка.
– Да что же это за нога проклятая!
– Погоди! Надень-ка тоненький какой-нибудь чулок.
– Да кого там! Видишь?..
– Да…
– Эх-х!.. Да что же это за нога проклятая!
Возбуждение угасло.
– Эх-х! – сокрушалась Клавдя. – Да что же это за нога! Скольно они?..
– Шестьдесят пять. – Сергей закурил папироску. Ему показалось, что Клавдя не расслышала цену. Шестьдесят пять рубликов, мол, цена-то.
Клавдя смотрела на сапожок, машинально поглаживала ладонью гладкое голенище. В глазах ее, на ресницах, блестели слезы… Нет, она слышала цену.
– Черт бы ее побрал, ноженьку! – сказала она. – Разок довелось, и то… Эхма!
В сердце Сергея опять толкнулась непрошеная боль… Жалость. Любовь, слегка забытая. Он тронул руку жены, поглаживающую сапожок. Пожал. Клавдя глянула на него… Встретились глазами. Клавдя смущенно усмехнулась, тряхнула головой, как она делала когда-то, когда была молодой, – как-то по-мужичьи озорно, простецки, но с достоинством и гордо.
– Ну, Груша, повезло тебе. – Она протянула сапожок дочери. – На-ка, примерь.
Дочь растерялась.
– Ну! сказал Сергей. И тоже тряхнул головой. – Десять хорошо кончишь – твои.
Клавдя засмеялась.

Перед сном грядущим Сергей всегда присаживался на низенькую табуретку у кухонной двери – курил последнюю папироску. Присел и сегодня… Курил, думал, еще раз переживал сегодняшнюю покупку, постигал ее нечаянный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибу дь спугнуло бы это хорошее состояние, эту редкую гостью-минуту.
Клавдя стелила в горнице постель.
– Ну, иди… – позвала она.
Он нарочно не откликнулся, – что дальше скажет
– Сергунь! – ласково позвала Клава.
Сергей встал, загасил окурок и пошел в горницу.
Улыбнулся сам себе, качнул головой… Но не подумал так: "Купил сапожки, она ласковая сделалась". Нет, не в сапожках дело, конечно, дело в том что…
Ничего. Хорошо.

***

Проблема отцов и детей

Миниатюра В.Солоухина из книги «Камешки на ладони»

В английском парламенте обсуждался вопрос о молодежи. Оратор огласил с трибуны четыре высказывания разных людей о молодежи. Вот они, эти высказывания:

Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат свои родителям. Попросту говоря, они очень плохие.

Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна.

Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих родителей. Видимо, конец мира не очень далек.

Эта молодежь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Они никогда не будут походить на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру.

Все эти изречения о молодежи, о безнадежном будущем были встречены в парламенте аплодисментами. Тогда оратор раскрыл карты.

Оказывается, первое изречение принадлежит Сократу, второе – Гесиоду, третье – египетскому жрецу, а четвертое найдено в глиняном горшке в развалинах Вавилона, а возраст горшка – 3000 лет.

Проблема бережного отношения к животным, «братьям нашим меньшим»

В. Астафьев
Белогрудка
Деревня Вереино стоит на горе. Под горою два озера, и на берегу их, отголоском крупного села, ютится маленькая деревенька в три

дома — Зуяты.
Между Зуятами и Вереино огромный крутой косогор, видный за много десятков вёрст тёмным горбатым островом. Весь этот косогор так зарос густолесьем, что люди почти никогда и не суются туда. Да и как сунешься? Стоит отойти несколько шагов от клеверного поля, которое на горе, — и сразу покатишься кубарем вниз, ухнешь в накрест лежащий валежник, затянутый мхом, бузиною и малинником.
Глухо на косогоре, сыро и сумеречно. Еловая и пихтовая крепь надёжно хоронит от худого глаза и загребущих рук жильцов своих — птиц, барсуков, белок, горностаев. Держатся здесь рябчик и глухарь, очень хитрый и осторожный.
А однажды поселилась в чащобе косогора, пожалуй, одна из самых скрытных зверушек — белогрудая куница. Два или три лета прожила она в одиночестве, изредка появляясь на опушке. Белогрудка вздрагивала чуткими ноздрями, ловила противные запахи деревни и, если приближался человек, пулей вонзалась в лесную глухомань.
На третье или четвёртое лето Белогрудка родила котят, маленьких, как бобовые стручки. Мать грела их своим телом, облизывала каждого до блеска и, когда котята чуть подросли, стала добывать для них еду. Она очень хорошо знала этот косогор. Кроме того, была она старательная мать и вдосталь снабжала едой котят.
Но как-то Белогрудку выследили вереинские мальчишки, спустились за нею по косогору, притаились. Белогрудка долго петляла по лесу, махая с дерева на дерево, потом решила, что люди уже ушли — они ведь часто мимо косогора проходят, — вернулась к гнезду.
За ней следило несколько человеческих глаз. Белогрудка не почувствовала их, потому что вся трепетала, прильнув к котятам, и ни на что не могла обращать внимания. Белогрудка лизнула каждого из детёнышей в мордочку: дескать, я сейчас, мигом, — и вымахнула из гнезда.
Корм добывать становилось день ото дня трудней и трудней. Вблизи гнезда его уже не было, и куница пошла с ёлки на ёлку, с пихты на пихту, к озёрам, потом к болоту, к большому болоту за озером. Там она напала на простофилю-сойку и, радостная, помчалась к своему гнезду неся в зубах рыжую птицу с распущенным голубым крылом.
Гнездо было пустое. Белогрудка выронила из зубов добычу, метнулась вверх по ели, потом вниз, потом опять вверх, к гнезду хитро упрятанному в густом еловом лапнике.
Котят не было. Если бы Белогрудка умела кричать — закричала бы. Пропали котята, исчезли.
Белогрудка обследовала всё по порядку и обнаружила, что вокруг

ели топтались люди и на дерево неловко лез человек, сдирая кору, обламывая сучки, оставляя разящий запах пота и грязи в складках коры.
К вечеру Белогрудка точно выследила, что её детёнышей унесли в деревню. Ночью она нашла и дом, в который их унесли.
До рассвета она металась возле дома: с крыши на забор, с забора на крышу. Часами сидела на черёмухе, под окном, слушала — не запищат ли котятки.
Но во дворе гремела цепью и хрипло лаяла собака. Хозяин несколько раз выходил из дому, сердито кричал на неё. Белогрудка комочком сжималась на черёмухе.
Теперь каждую ночь она подкрадывалась к дому, следила, следила, и всё гремел и бесновался пёс во дворе.
Как-то Белогрудка прокралась на сеновал и осталась там до света, а днём не решилась уйти в лес. Днём-то она и увидела своих котят. Мальчишка вынес их в старой шапке на крыльцо и стал играть с ними, переворачивая кверху брюшками, щёлкая их по носу.
Пришли ещё мальчишки, стали кормить котят сырым мясом. Потом явился хозяин и, показывая на кунят, сказал:
— Зачем мучаете зверушек? Отнесите в гнездо. Пропадут.
Потом был тот страшный день, когда Белогрудка снова затаилась на сарае и снова ждала мальчишек. Они появились на крыльце и о чём-то спорили. Один из них вынес старую шапку, заглянул в неё:
— Э, подох один...
Мальчишка взял котёнка за лапу и кинул собаке. Вислоухий дворовый пёс, всю жизнь просидевший на цепи и привыкший есть что дают, обнюхал котёнка, перевернул лапой и стал неторопливо пожирать его с головы.
В ту же ночь на селе было придушено множество цыплят и кур, на высоком заплоте задавился старый пёс, съевший котёнка.
Белогрудка бегала по забору и до того раздразнила дураковатую дворнягу, что та ринулась за ней, перепрыгнула через забор, сорвалась и повисла.
Утят, гусят находили в огородах и на улице задавленными. В крайних домах, что ближе к лесу, птица вовсе вывелась.
И долго не могли узнать люди, кто это разбойничает ночами на селе. Но Белогрудка совсем освирепела и стала появляться у домов даже днём и расправляться со всем, что было ей под силу. Бабы ахали, старухи крестились, мужики ругались:
— Это ж сатана! Накликали напасть!
Белогрудку подкараулили, сшибли дробью с тополя возле старой церкви. Но Белогрудка не погибла. Лишь две дробины попали ей под кожу, и она несколько дней таилась в гнезде, зализывала ранки. Когда она вылечила себя, то снова пришла к тому дому, куда её будто на поводе тянули.

Белогрудка ещё не знала, что мальчишку, взявшего кунят, пороли ремнём и приказали отнести их обратно в гнездо. Но беззаботный мальчишка поленился лезть в лесную крепь, бросил кунят в овражке возле леса и ушёл. Здесь их нашла и прикончила лиса.
Белогрудка осиротела. Она стала давить напропалую голубей, утят не только на горе, в Вереино, но и в Зуятах тоже.
Попалась она в погребе. Открыв западню погреба, хозяйка крайней в Зуятах избы увидела Белогрудку.
— Так вот ты где, сатана! — всплеснула она руками и бросилась ловить куницу.
Все банки, кринки, чашки были опрокинуты и побиты, прежде чем женщина сцапала куницу.
Белогрудку заключили в ящике. Она свирепо грызла доски, крошила щепу.
Пришёл хозяин, он был охотник, и когда жена рассказала, что изловила куницу, заявил:
— Ну и зря. Она не виновата. Её обидели, осиротили, — и выпустил куницу на волю, думая, что больше она в Зуятах не появится.
Но Белогрудка принялась разбойничать пуще прежнего. Пришлось охотнику задолго до сезона убить куницу.
На огороде возле парника он увидел её однажды, загнал на одинокий куст и выстрелил. Куница упала в крапиву и увидела бегущую к ней собаку с мокрым гавкающим ртом. Белогрудка змейкой взвилась из крапивы, вцепилась в горло собаке и умерла.
Собака каталась по крапиве, дико выла. Охотник разжимал зубы Белогрудки ножом и сломал два пронзительно острых клыка.
До сих пор помнят в Вереино и в Зуятах Белогрудку. До сих пор здесь строго наказывают ребятам, чтобы не смели трогать детёнышей зверушек и птиц.
Спокойно живут и плодятся теперь меж двух сёл, вблизи от жилья, на крутом лесистом косогоре белки, лисы, разные птицы и зверушки. И когда я бываю в этом селе и слышу густоголосый утренний гомон птиц, думаю одно и то же:
«Вот если бы таких косогоров было побольше возле наших сёл и городов!»

1961

Проблема долга перед родителями

Проблема безнравственности (человеческой жестокости по отношению к матери)

Виктор Астафьев

Записка

"НА ПРОКОРМ ЛЕГКА, ХОТЯ И ОБЪЕСТЬ МОЖЕТ, НО НЕ ЗЛОВРЕДНА".

Нет, это не из Гоголя и не из Салтыкова-Щедрина, и не из прошлого века.

В наши дни, в век, так сказать, энтээра, из старой русской деревни, подбив продать домишко, родной сынок привез в город собственную мать, неграмотную, изношенную в работе, и "забыл" ее на вокзале.

В карман выходной плюшевой жакетки матери вместо денег сынок вложил эту самую записку, как рекомендательное письмо в няньки, сторожихи, домработницы.

Все же жаль порою бывает, что отменена публичная порка. Для автора этой записки я сам нарубил бы виц и порол бы его, порол до крови, до визга, чтоб далеко и всем было слышно.

Проблема судьбы, рока

И.Бунин

Роман горбуна

Горбун получил анонимное любовное письмо, приглашение на свидание:

«Будьте в субботу пятого апреля, в семь часов вечера, в сквере на Соборной площади. Я молода, богата, свободна и - к чему скрывать! - давно знаю, давно люблю Вас, гордый и печальный взор, ваш благородный, умный лоб, ваше одиночество... Я хочу надеяться, что и Вы найдете, быть может, во мне душу, родную Вам... Мои приметы: серый английский костюм, в левой руке шелковый лиловый зонтик, в правой - букетик фиалок...»

Как он был потрясен, как ждал субботы: первое любовное письмо за всю жизнь! В субботу он сходил к парикмахеру, купил (сиреневые) перчатки, новый (серый с красной искрой, под цвет костюму) галстук; дома, наряжаясь перед зеркалом, без конца перевязывал этот галстук своими длинными, тонкими пальцами, холодными и дрожащими: на щеках его, под тонкой кожей, разлился красивый, пятнистый румянец, прекрасные глаза потемнели... Потом, наряженный, он сел в кресло, - как гость, как чужой в своей собственной квартире, - и стал ждать рокового часа. Наконец в столовой важно, грозно пробило шесть с половиной. Он содрогнулся, поднялся, сдержанно, не спеша надел в прихожей весеннюю шляпу, взял трость и медленно вышел. Но на улице уже не мог владеть собой - зашагал своими длинными и тонкими ногами быстрее, со всей вызывающей важностью, присущей горбу, но объятый тем блаженным страхом, с которым всегда предвкушаем мы счастье. Когда же быстро

вошел в сквер возле собора, вдруг оцепенел на месте: навстречу ему, в розовом свете весенней зари, важными и длинными шагами шла в сером костюме и хорошенькой шляпке, похожей на мужскую, с зонтиком в левой руке и с фиалками в правой, - горбунья.

Беспощаден кто-то к человеку!

1930

Проблема отношения к русскому языку, к чистоте русского языка.

И.С.Тургенев

Русский язык.

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Июнь 1882

Дурак.

Жил-был на свете дурак. Долгое время он жил припеваючи; но понемногу стали доходить до него слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца.

Смутился дурак и начал печалиться о том, как бы прекратить те неприятные слухи?

Внезапная мысль озарила, наконец, его темный умишко... И он, ни мало не медля, привел ее в исполнение.

Встретился ему на улице знакомый — и принялся хвалить известного живописца...

— Помилуйте!— воскликнул дурак.— Живописец этот давно сдан в архив... Вы этого не знаете? Я от вас этого не ожидал... Вы — отсталый человек.

Знакомый испугался — и тотчас согласился с дураком.

— Какую прекрасную книгу я прочел сегодня!— говорил ему другой знакомый.

— Помилуйте!— воскликнул дурак.— Как вам не стыдно? Никуда эта книга не годится; все на нее давно махнули рукою. Вы этого не знаете? Вы — отсталый человек.

И этот знакомый испугался — и согласился с дураком.

— Что за чудесный человек мой друг N. N.— говорил дураку третий знакомый. Вот истинно благородное существо!

— Помилуйте!— воскликнул дурак.— N. N.— заведомый подлец! Родню всю ограбил. Кто ж этого не знает? Вы — отсталый человек!

Третий знакомый тоже испугался и согласился с дураком, отступился от друга. И кого бы, что бы ни хвалили при дураке — а него на все была одна отповедь.

Разве иногда прибавит с укоризной:

— А вы все еще верите в авторитеты?

— Злюка! Желчевик!— начинали толковать о дураке его знакомые.— Но какая голова!

— И какой язык!— прибавляли другие.— О, да он талант!

Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведывать у него критическим отделом.

И дурак стал критиковать все и всех, нисколько не меняя манеры своей, ни своих восклицаний.

Теперь он, кричавший некогда против авторитетов,— сам авторитет — и юноши перед ним благоговеют — и боятся его.

Да и как им быть, бедным юношам? Хоть и не следует, вообще говоря, благоговеть... но тут, поди, не возблагоговей — в отсталые люди попадаешь!

Житье дуракам между трусами.

Проблема героизма

Тургенев И.С.

Воробей

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой - и весь взъерошенный, искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище… но всё его маленькое тельце трепетало от ужаса, голос одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке… Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущённого пса - и удалился, благоговея.

Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным её порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Апрель, 1879

Проблема милосердия и сострадания

И.Тургенев

Два богача

Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых — я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.

— Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут, — не на что будет соли добыть, похлебку посолить…

— А мы ее… и не соленую, — ответил мужик, ее муж.

Далеко Ротшильду до этого мужика!

Июль, 1878 г.

Проблема милосердия
Проблема жертвенности во имя других

И.Тургенев

Памяти Ю.П.Вревской

а грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный гошпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились… два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи… она не ведала другого счастия… не ведала — и не

изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена… дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу — хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!

Цитаты о русском языке

Русский язык

С русским языком можно творить чудеса.
Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом.
Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, детский шепот и шорох морского гравия.
Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.
К. Г. Паустовский.

Берегите наш язык, наш прекрасный руский язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками!
Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса.
И. С. Тургенев.

Нет таких звуков, красок, образов и мыслей - сложных и простых, - для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.
К. Паустовский.

Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.
Н. Гоголь.

Проблема отношения к искусству

Рей Бредбери

Улыбка

На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда

вокруг, среди разбитых зданий, клочьями висел туман, но теперь, в семь утра, рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги по-двое, по-трое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день.
Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче.
Мальчишка притопывал на месте и дул на свои красные, в цыпках, руки, поглядывая то на грязную, из грубой мешковины, одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди.
- Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань? - сказал человек за его спиной.
- Это мое место, я тут очередь занял, - ответил мальчик.
- Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк!
- Оставь в покое парня, - вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди.
- Я же пошутил. - Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик угрюмо стряхнул ее. - Просто подумал, чудно это-ребенок, такая рань а он не спит.
- Этот парень знает толк в искусстве, ясно? - сказал заступник, его фамилия была Григсби. - Тебя как звать-то, малец?
- Том.
- Наш Том, уж он плюнет что надо, в самую точку-верно. Том?
- Точно!
Смех покатился по шеренге людей.
Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда. Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка, согреть желудок" но мало кто покупал, мало кому это было по карману.
Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за развaленной взрывом каменной стеной.
- Говорят, она _улыбается_, - сказал мальчик.
- Ага, улыбается, - ответил Григсби.
- Говорят, она сделана из краски и холста.
- Точно. Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та, настоящая,
- я слышал - была на доске нарисована, в незапамятные времена.
- Говорят, ей четыреста лет.
- Если не больше. Коли. уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год.
- Две тысячи шестьдесят первый!
- Верно, так говорят, парень, говорят. Брешут. А может, трехтысячный! Или пятитысячный! Почем мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катавасия была... И достались нам только рожки да ножки.

Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой.
- Скоро мы ее увидим? - уныло протянул Том.
- Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее, повесили на четырех латунных столбиках бархатную веревку, все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней, они запретили бросать в нее камни.
- Ладно, сэр.
Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.
- А зачем мы все тут собрались? - спросил, подумав, Том. - Почему мы должны плевать?
Тригсби и не взглянул на него, он смотрел на солнце, соображая, который час.
- Э, Том, причин уйма. - Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение миллион раз. - Тут все дело в ненависти, ненависти ко всему, что связано с Прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города--труды развалин, дороги от бомбежек-словно пила, вверх-вниз, поля по ночам светятся, радиоактивные... Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?
- Да, сэр, конечно.
- То-то и оно... Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломало. Так уж он устроен. Неразумно, может быть но такова человеческая природа.
- А если хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели? - сказал Том.
- Во-во! А все эта орава идиотов, которая заправляла миром в Прошлом! Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело, стучим от холода зубами-ядовитые троглодиты, ни покурить, ни выпить, никакой тебе утехи, кроме этих наших праздников. Том. Наших праздников...
Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой!..
- Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я же разбил переднее стекло-стекло, слышишь? господи, звук-то какой был, прелесть! Тррахх!
Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.
- А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это сработал, прямо мастерски. Бамм! Но лучше всего, - продолжал вспоминать Григсби, - было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку! А потом нашли типографию и склад боеприпасов-и взорвали их вместе! Представляешь себе. Том? - -

Том подумал.
- Ага.
Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух, что-то копошилось среди обломков зданий.
- Сэр, это больше никогда не вернется?
- Что-цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае не мне!
- А я так готов ее терпеть, - сказал один из очереди. - Не все, конечно, но были и в ней свои хорошие стороны...
- Чего зря болтать-то! - крикнул Григсби. - Все равно впустую.
- Э, - упорствовал один из очереди, - не торопитесь. Вот увидите: еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой.
- Не будет того, сказал - Григсби.
- А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому. Он вернет нам-нет, не старую, а, так сказать, ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно.
- Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война!
- Почему же? Может, на этот раз все будет иначе. Наконец и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой; держа в руке листок бумаги, Огороженное пространство было в самом центре площади. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед - шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки.
- Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай! - По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских-четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней.
- Это для того, - уже напоследок объяснил Григсби, - чтобы каждому досталось плюнуть по разку, понял, Том? Ну, давай!
Том замер перед картиной, глядя на нее.
- Ну, плюй же!
У мальчишки пересохло во рту.
- Том, давай! Живее!
- Но, - медленно произнес Том, - она же красивая!
- Ладно, я плюну за тебя!
Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно-печально, и Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.
- Она красивая, - повторил он.
- Иди уж, пока полиция...
- Внимание!
Очередь притихла. Только что они бранили Тома - стал как пень! - а теперь все повернулись к верховому.
- Как ее звать, сэр? - тихо спросил Том.
- Картину-то? Кажется, "Мона Лиза"... Точно: "Мона Лиза".

- Слушайте объявление, - сказал верховой. - Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении...
Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста... Полицейские бросились наутек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья.
Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.
- Эй, Том, ты что же! - крикнул Григсби. Не говоря ни слова, всхлипывая. Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку.
На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В девять часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит-спит мать, отец, брат. Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.
- Том? - раздался во мраке голос матери.
- Да.
- Где ты болтался? - рявкнул отец. - Погоди, вот я тебе утром всыплю...
Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде.
- Ложись! - негромко прикрикнула на него мать.
Еще пинок.
Том дышал уже ровнее. Кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза.
Потом ощутил что-то: холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь ожидание, разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста.
Мир спал, освещенный луной.
А на его ладони лежала Улыбка.
Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба. И тихо повторял про себя, снова и снова: "Улыбка, чудесная улыбка..."
Час спустя он все еще видел ее, даже после того как осторожно сложил ее и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним - Улыбка. Ласковая, добрая, она была Там и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием, и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.

Проблема воздействия искусства на человека

В.П.Астафьев

Домский собор

Дом… Дом… Дом…

Домский собор, с петушком на шпиле. Высокий, каменный, он по-над Ригой звучит.

Пением органа наполнены своды собора. С неба, сверху плывет то рокот, то гром, то нежный голос влюбленных, то зов весталок, то рулады рожка, то звуки клавесина, то говор перекатного ручья…

И снова грозным валом бушующих страстей сносит все, снова рокот.

Звуки качаются, как ладанный дым. Они густы, осязаемы. Они всюду, и все наполнено ими: душа, земля, мир.

Все замерло, остановилось.

Душевная смута, вздорность суетной жизни, мелкие страсти, будничные заботы — все-все это осталось в другом месте, в другом свете, в другой, отдалившейся от меня жизни, там, там где-то.

«Может, все что было до этого, — сон? Войны, кровь, братоубийство, сверхчеловеки, играющие людскими судьбами ради того, чтобы утвердить себя над миром.

Зачем так напряженно и трудно живем мы на земле нашей? Зачем? Почему?»

Дом. Дом. Дом…

Благовест. Музыка. Мрак исчез. Взошло солнце. Все преображается вокруг.

Нет собора с электрическими свечками, с древней лепотой, со стеклами, игрушечно и конфетно изображающими райскую жизнь. Есть мир и я, присмиревший от благоговения, готовый преклонить колени перед величием прекрасного.

Зал полон людьми, старыми и молодыми, русскими и нерусскими, партийными и беспартийными, злыми и добрыми, порочными и светлыми, усталыми и восторженными, всякими.

И никого нет в зале!

Есть только моя присмирелая, бесплотная душа, она сочится непонятной болью и слезами тихого восторга.

Она очищается, душа-то, и чудится мне, весь мир затаил дыхание, задумался этот клокочущий, грозный наш мир, готовый вместе со мною пасть на колени, покаяться, припасть иссохшим ртом к святому роднику добра…

И вдруг, как наваждение, как удар: а ведь в это время где-то целят в этот собор, в эту великую музыку… пушками, бомбами, ракетами…

Не может этого быть! Не должно быть!

А если есть. Если суждено умереть нам, сгореть, исчезнуть, то пусть сейчас, пусть в эту минуту, за все наши злые дела и пороки накажет нас судьба. Раз не удается нам жить свободно, сообща, то пусть хоть смерть наша будет свободной, и душа отойдет в иной мир облегченной и светлой.

Живем мы все вместе. Умираем по отдельности. Так было века. Так было до этой минуты.

Так давайте сейчас, давайте скорее, пока нет страха. Не превратите людей в животных перед тем, как их убить. Пусть рухнут своды собора, и вместо плача о кровавом, преступно сложенном пути унесут люди в сердце музыку гения, а не звериный рев убийцы.

Домский собор! Домский собор! Музыка! Что ты сделала со мною? Ты еще дрожишь под сводами, еще омываешь душу, леденишь кровь, озаряешь светом все вокруг, стучишься в броневые груди и больные сердца, но уже выходит человек в черном и кланяется сверху. Маленький человек, тужащийся уверить, что это он сотворил чудо. Волшебник и песнопевец, ничтожество и Бог, которому подвластно все: и жизнь, и смерть.

Домский собор. Домский собор.

Здесь не рукоплещут. Здесь люди плачут от ошеломившей их нежности. Плачет каждый о своем. Но вместе все плачут о том, что кончается, спадает прекрасный сон, что кратковечно волшебство, обманчиво сладкое забытье и нескончаемы муки.

Домский собор. Домский собор.

Ты в моем содрогнувшемся сердце. Склоняю голову перед твоим певцом, благодарю за счастье, хотя и краткое, за восторг и веру в разум людской, за чудо, созданное и воспетое этим разумом, благодарю тебя за чудо воскрешения веры в жизнь. За все, за все благодарю!

Тематическое планирование

№	Раздел	Количество часов
1	Введение	1
2	Литературная карта России	4
3	Изображение русской природы в родной литературе первой половины 20 века	7
4	Отражение истории в русской литературе 20 века.	10
5	Отражение глубины человеческих переживаний в русской лирической поэзии и прозе	5
6	Поиск нравственного идеала в русской прозе двадцатого века	8
	итого	34

Календарно-тематическое планирование

№	Дата по плану	Дата факт.	Тема урока
1			Введение. Русская литература начала XX века в контексте мировой культуры. Связь русской литературы и истории. Обращение русской литературы к народному сознанию в поисках нравственного идеала.

2			Литературная карта России в 20 веке. Тема угасания «дворянских гнёзд» в родной литературе (обзор)
3			Литературный Симбирск (Ульяновск) в 20 веке (обзор)
4			Литературный Симбирск (Ульяновск) в 20 веке : сообщения учащихся о писателях Симбирска-Ульяновска
5			Изображение русской природы в родной литературе первой половины 20 века. Чтение и анализ стихотворения И.Бунина « Ту звезду, что качалася в темной воде»
6			И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.
7			Тема родины, боль и тревога за судьбы России в стихотворении А. Белого «Родине».
8			Тема родины, боль и тревога за судьбы России в стихотворении С.Есенина «О пашни, пашни, пашни…»
9			РР Самостоятельный анализ стихотворений русских писателей о судьбе родины по выбору учащихся
10			РР. Обсуждение и анализ творческих работ учащихся
11			Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова.
12			М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности саморазрушения личности.
13			Изображение жизни народа в родной литературе и живописи: стихотворения С.Есенина и живопись А.Пластова о жизни русской деревни.
14			Контрольное тестирование по изученным темам.
15			Анализ тестовых работ учащихся.
16			Образ родной земли в русской лирической поэзии: чтение и анализ стихотворения А.Ахматовой «Тот город, мной любимый с детства» и М.Цветаевой «У меня в Москве — купола горят»
17			Образ родной земли в русской лирической поэзии: чтение и анализ стихотворения А.Ахматовой «Тот город, мной любимый с детства» и М.Цветаевой «У меня в Москве — купола горят»

18			Отражение истории в русской литературе 20 века. «В мире, расколотом надвое»: русские писатели о гражданской войне. Стихотворение М.Волошина «Русская революция»
19			Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести.
20			В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, проблема межнациональных отношений.
21			Русская литература во взаимодействии с национальными литературами: изображение трагедии Великой Отечественной войны в стихах М.Джалиля.
22			Отражение глубины человеческих переживаний в русской лирической поэзии: анализ стихотворения М.Цветаевой «Молодость»
23			Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах.
24			РР. Творческая работа: анализ лирического стихотворения или прозаического текста русских поэтов и писателей 20 века по выбору учащихся или написание своего лирического стихотворения.
25			РР. Творческая работа: анализ лирического стихотворения или прозаического текста русских поэтов и писателей 20 века по выбору учащихся или написание своего лирического стихотворения.
26			Обсуждение творческих работ учащихся
27			Поиск нравственного идеала в русской реалистической прозе двадцатого века: рассказ А.Куприна «Скрипка Паганини».
28			Поиск нравственного идеала в русской прозе двадцатого века: К. Паустовский «Старик в станционном буфете».
29			Поиск нравственного идеала в русской прозе двадцатого века: К. Паустовский «Телеграмма».
30			Поиск нравственного идеала в русской прозе двадцатого века: Б. Екимов «Лёгкая рука»

31			Поиск нравственного идеала в русской прозе двадцатого века: А.Алексин «Безумная Евдокия»
32			Нравственнее уроки родной литературы. Итоговый урок
33			Резервный урок
34			Резервный урок